

Раковый корпус

Автор:

Александр Солженицын

Раковый корпус

Александр Исаевич Солженицын

Собрание сочинений в 30 томах #3

В третьем томе 30-томного Собрания сочинений печатается повесть «Раковый корпус». Сосланный «навечно» в казахский аул после отбытия 8-летнего заключения, больной раком Солженицын получает разрешение пройти курс лечения в онкологическом диспансере Ташкента. Там, летом 1954 года, и задумана повесть. Замысел лежал без движения почти 10 лет. Начав писать в 1963 году, автор вплотную работал над повестью с осени 1965 до осени 1967 года. Попытки «Нового мира» Твардовского напечатать «Раковый корпус» были твердо пресечены властями, но текст распространился в Самиздате и в 1968 году был опубликован по-русски за границей. Переведен практически на все европейские языки и на ряд азиатских. На родине впервые напечатан в 1990. В основе повести – личный опыт и наблюдения автора. Больные «ракового корпуса» – люди со всех концов огромной страны, изо всех социальных слоев. Читатель становится свидетелем борения с болезнью, попыток осмысления жизни и смерти; с волнением следит за робкой сменой общественной обстановки после смерти Сталина, когда страна будто начала обретать сознание после страшной болезни. В героях повести, населяющих одну больничную палату, воплощены боль и надежды России.

Александр Исаевич Солженицын

Раковый корпус

Раковый корпус носил и номер тринадцать. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нём, когда в направлении ему написали: «тринадцатый корпус». Вот уж ума не хватило назвать тринадцатым какой-нибудь протезный или кишечный.

Однако во всей республике сейчас не могли ему помочь нигде, кроме этой клиники.

– Но ведь у меня – не рак, доктор? У меня ведь – не рак? – с надеждой спрашивал Павел Николаевич, слегка потрагивая на правой стороне шеи свою злую опухоль, растущую почти по дням, а снаружи всё так же обтянутую безобидной белой кожей.

– Да нет же, нет, конечно, – в десятый раз успокоила его доктор Донцова, размашистым почерком исписывая страницы в истории болезни. Когда она писала, она надевала очки – скруглённые четырёхугольные, как только прекращала писать – снимала их. Она была уже немолода, и вид у неё был бледный, очень усталый.

Это было ещё на амбулаторном приёме, несколько дней назад. Назначенные в раковый даже на амбулаторный приём, больные уже не спали ночь. А Павлу Николаевичу Донцова определила лечь, и как можно быстрее.

Не сама только болезнь, непредусмотренная, неподготовленная, налетевшая как шквал за две недели на безбедного счастливого человека, – но не меньше болезни угнетало теперь Павла Николаевича то, что приходилось ложиться в эту клинику на общих основаниях, как он лечился уже не помнил когда. Стали звонить – Евгению Семёновичу, и Шендяпину, и Ульмасбаеву, а те в свою очередь звонили, выясняли возможности, и нет ли в этой клинике спецпалаты, или нельзя хоть временно организовать маленькую комнату как спецпалату. Но по здешней тесноте не вышло ничего.

И единственное, о чём удалось договориться через главного врача, – что можно будет миновать приёмный покой, общую баню и переодевалку.

И на их голубеньком «москвичике» Юра подвёз отца и мать к самым ступенькам Тринадцатого корпуса.

Несмотря на морозец, две женщины в застиранных бумазейных халатах стояли на открытом каменном крыльце – ёжились, а стояли.

Начиная с этих неопрятных халатов всё было здесь для Павла Николаевича неприятно: слишком истёртый ногами цементный пол крыльца; тусклые ручки двери, захватанные руками больных; вестибюль ожидающих с облезлой краской пола, высокой оливковой панелью стен (оливковый цвет так и казался грязным) и большими рейчатыми скамьями, на которых не помещались и сидели на полу приехавшие издалека больные – узбеки в стёганных ватных халатах, старые узбечки в белых платках, а молодые – в лиловых, красно-зелёных, и все в сапогах и в галошах. Один русский парень лежал, занимая целую скамейку, в расстёгнутом, до полу свешенном пальто, сам истощавший, а с животом опухшим, и непрерывно кричал от боли. И эти его вопли оглушили Павла Николаевича и так задели, будто парень кричал не о себе, а о нём.

Павел Николаевич побледнел до губ, остановился и прошептал:

– Капа! Я здесь умру. Не надо. Вернёмся.

Капитолина Матвеевна взяла его за руку твёрдо и сжала:

– Пашенька! Куда же мы вернёмся?.. И что дальше?

– Ну, может быть, с Москвой ещё как-нибудь устроится...

Капитолина Матвеевна обратилась к мужу всей своей широкой головой, ещё уширенной пышными медными стриженными кудрями:

– Пашенька! Москва – это, может быть, ещё две недели, может быть, не удастся. Как можно ждать? Ведь каждое утро она больше!

Жена крепко сжимала его у кисти, передавая бодрость. В делах гражданских и служебных Павел Николаевич был неуклонен и сам, – тем приятней и спокойней было ему в делах семейных всегда полагаться на жену: всё важное она решала быстро и верно.

А парень на скамейке раздирался-кричал!

– Может, врачи домой согласятся... Заплатим... – неуверенно отпирался Павел Николаевич.

– Пасик! – внушала жена, страдая вместе с мужем, – ты знаешь, я сама первая всегда за это: позвать человека и заплатить. Но мы же выяснили: эти врачи не ходят, денег не берут. И у них аппаратура. Нельзя...

Павел Николаевич и сам понимал, что нельзя. Это он говорил только на всякий случай.

По уговору с главврачом онкологического диспансера их должна была ожидать старшая сестра в два часа дня вот здесь, у низа лестницы, по которой сейчас осторожно спускался больной на костылях. Но, конечно, старшей сестры на месте не было, и каморка её под лестницей была на замочке.

– Ни с кем нельзя договориться! – вспыхнула Капитолина Матвеевна. – За что им только зарплату платят!

Как была, объятая по плечам двумя чернобурками, Капитолина Матвеевна пошла по коридору, где написано было: «В верхней одежде вход воспрещён».

Павел Николаевич остался стоять в вестибюле. Боязливо, лёгким наклоном головы направо, он ощупывал свою опухоль между ключицей и челюстью. Такое было впечатление, что за полчаса – с тех пор как он дома в последний раз посмотрел на неё в зеркало, окутывая кашне, – за эти полчаса она будто ещё выросла. Павел Николаевич ощущал слабость и хотел бы сесть. Но скамьи казались грязными, и ещё надо было просить подвинуться какую-то бабу в платке с сальным мешком на полу между ног. Даже издали как бы не достигал до Павла Николаевича смрадный запах от этого мешка.

И когда только научится наше население ездить с чистыми аккуратными чемоданами! (Впрочем, теперь, при опухоли, это уже было всё равно.)

Страдая от криков того парня и от всего, что видели глаза, и от всего, что входило через нос, Русанов стоял, чуть прислонясь к выступу стены. Снаружи вошёл какой-то мужик, перед собой неся поллитровую банку с наклейкой, почти полную жёлтой жидкостью. Банку он нёс не пряча, а гордо приподняв, как кружку с пивом, выстоянную в очереди. Перед самым Павлом Николаевичем, чуть не протягивая ему эту банку, мужик остановился, хотел спросить, но посмотрел на котиковую шапку и отвернулся, ища дальше, к больному на костылях:

– Милай! Куда это несть, а?

Безногий показал ему на дверь лаборатории.

Павла Николаевича просто тошнило.

Раскрылась опять наружная дверь – и в одном белом халате вошла сестра, не миловидная, слишком долголицая. Она сразу заметила Павла Николаевича, и догадалась, и подошла к нему.

– Простите, – сказала она через запышку, румяная до цвета покрашенных губ, так спешила. – Простите, пожалуйста! Вы давно меня ждёте? Там лекарства привезли, я принимаю.

Павел Николаевич хотел ответить едко, но сдержался. Уж он рад был, что ожидание кончилось. Подошёл, неся чемодан и сумку с продуктами, Юра – в одном костюме, без шапки, как правил машиной, – очень спокойный, с покачивающимся высоким светлым чубом.

– Пойдёмте! – вела старшая сестра к своей кладовке под лестницей. – Я знаю, Низамутдин Бахрамович мне говорил, вы будете в своём белье и привезли свою пижаму, только ещё не ношенную, правда?

– Из магазина.

- Это обязательно, иначе ведь нужна дезинфекция, вы понимаете? Вот здесь вы переоденетесь.

Она отворила фанерную дверь и зажгла свет. В камерке со скошенным потолком не было окна, а висело много графиков цветными карандашами.

Юра молча занёс туда чемодан, вышел, а Павел Николаевич вошёл переодеваться. Старшая сестра рванулась куда-то ещё за это время сходить, но тут подошла Капитолина Матвеевна:

- Девушка, вы что, так торопитесь?

- Да н-немножко...

- Как вас зовут?

- Мита.

- Странное какое имя. Вы не русская?

- Немка...

- Вы нас ждать заставили.

- Простите, пожалуйста. Я сейчас там принимаю...

- Так вот слушайте, Мита, я хочу, чтоб вы знали. Мой муж... заслуженный человек, очень ценный работник. Его зовут Павел Николаевич.

- Павел Николаевич, хорошо, я запомню.

- Понимаете, он и вообще привык к уходу, а сейчас у него такая серьёзная болезнь. Нельзя ли около него устроить дежурство постоянной сестры?

Озабоченное беспокойное лицо Миты ещё озаботилось. Она покачала головой:

- У нас, кроме операционных, на шестьдесят человек три дежурных сестры днём. А ночью две.

- Ну вот, видите! Тут умирать будешь, кричать - не подойдут.

- Почему вы так думаете? Ко всем подходят.

Ко «всем»!.. Если она говорила «ко всем», то что ей объяснять?

- К тому ж ваши сёстры меняются?

- Да, по двенадцать часов.

- Ужасно это обезличенное лечение!.. Я бы сама с дочерью сидела посменно! Я бы постоянную сиделку за свой счёт пригласила, - мне говорят - и это нельзя...?

- Я думаю, это невозможно. Так никто ещё не делал. Да там в палате и стула негде поставить.

- Боже мой, воображаю, что это за палата! Ещё надо посмотреть эту палату! Сколько ж там коек?

- Девять. Да это хорошо, что сразу в палату. У нас новенькие лежат на лестницах, в коридорах.

- Девушка, я буду всё-таки просить, вы знаете своих людей, вам легче организовать. Договоритесь с сестрой или с санитаркой, чтобы к Павлу Николаевичу было внимание не казённое... - она уже расщёлкнула большой чёрный ридикюль и вытянула оттуда три пятидесятки.

Недалеко стоявший молчаливый сын отвернулся.

Мита отвела обе руки за спину.

- Нет, нет! Таких поручений...

– Но я же не вам даю! – совала ей в грудь растопыренные бумажки Капитолина Матвеевна. – Но раз нельзя это сделать в законном порядке... Я плачу за работу! А вас прошу только о любезности передать!

– Нет-нет, – холодела сестра. – У нас так не делают.

Со скрипом двери из каморки вышел Павел Николаевич в новенькой зелёно-коричневой пижаме и тёплых комнатных туфлях с меховой оторочкой. На его почти безволосой голове была новенькая малиновая тубетейка. Теперь, без зимнего воротника и кашне, особенно грозно выглядела его опухоль в кулак на боку шеи. Он и голову уже не держал ровно, а чуть набок.

Сын пошёл собрать в чемодан всё снятое. Спрятав деньги в ридикюль, жена с тревогой смотрела на мужа:

– Не замёрзнешь ли ты?.. Надо было тёплый халат тебе взять. Привезу. Да, здесь же шарфик, – она вынула из его кармана. – Обмотай, чтоб не простудить! – В чернобурках и в шубе она казалась втрое мощнее мужа. – Теперь иди в палату, устраивайся. Разложи продукты, осмотришься, продумай, что тебе нужно, я буду сидеть ждать. Спустишься, скажешь – к вечеру всё привезу.

Она не теряла головы, она всегда всё предусматривала. Она была настоящий товарищ по жизни. Павел Николаевич с благодарностью и страданием посмотрел на неё, потом на сына.

– Ну так, значит, едешь, Юра?

– Вечером поезд, папа, – подошёл Юра. Он держался с отцом почтительно, но, как всегда, порыва у него не было никакого, сейчас вот – порыва разлуки с отцом, оставляемым в больнице. Он всё воспринимал погашенно.

– Так, сынок. Значит, это первая серьёзная командировка. Возьми сразу правильный тон. Никакого благодушия! Тебя благодушие губит! Всегда помни, что ты – не Юра Русанов, не частное лицо, ты – представитель за-ко-на, понимаешь?

Понимал Юра или нет, но Павлу Николаевичу трудно было сейчас найти более точные слова. Мита мялась и рвалась идти.

– Так я же подожду с мамой, – улыбался Юра. – Ты не прощайся, иди пока, пап.

– Вы дойдёте сами? – спросила Мита.

– Боже мой, человек еле стоит, неужели вы не можете довести его до койки? Сумку донести!

Павел Николаевич сиротливо посмотрел на своих, отклонил поддерживающую руку Миты и, крепко взявшись за перила, стал всходить. Сердце его забилося, и ещё не от подъёма совсем. Он всходил по ступенькам, как всходят на этот, на как его... ну, вроде трибуны, чтобы там, наверху, отдать голову.

Старшая сестра, опережая, взбежала вверх с его сумкой, там что-то крикнула Марии и, ещё прежде чем Павел Николаевич прошёл первый марш, уже сбегала по лестнице другою стороной и из корпуса вон, показывая Капитолине Матвеевне, какая тут ждёт её мужа чуткость.

А Павел Николаевич медленно взошёл на лестничную площадку – широкую и глубокую, какие могут быть только в старинных зданиях. На этой серединной площадке, ничуть не мешая движению, стояли две кровати с больными и ещё тумбочки при них. Один больной был плох, изнурён и сосал кислородную подушку.

Стараясь не смотреть на его безнадежное лицо, Русанов повернул и пошёл выше, глядя вверх. Но и в конце второго марша его не ждало ободрение. Там стояла сестра Мария. Ни улыбки, ни приветия не излучало её смуглое иконописное лицо. Высокая, худая и плоская, она ждала его, как солдат, и сразу же пошла верхним вестибюлем, показывая куда. Отсюда было несколько дверей, и, только их не загораживая, ещё стояли кровати с больными. В беззаконном завороте под постоянно горящей настольной лампой стоял письменный столик сестры, её же процедурный столик, а рядом висел настенный шкаф, с матовым стеклом и красным крестом. Мимо этих столиков, ещё мимо кровати, и Мария указала длинной сухой рукой:

– Вторая от окна.

И уже торопилась уйти – неприятная черта общей больницы, не постоит, не поговорит.

Створки двери в палату были постоянно распахнуты, и всё же, переходя порог, Павел Николаевич ощутил влажно-спёртый смешанный, отчасти лекарственный запах – мучительный при его чуткости к запахам.

Койки стояли поперёк стен тесно, с узкими проходами по ширине тумбочек, и средний проход вдоль комнаты тоже был двоим разминуться.

В этом проходе стоял коренастый широкоплечий больной в розово-полосчатой пижаме. Толсто и туго была обмотана бинтами вся его шея – высоко, почти под мочки ушей. Белое сжимающее кольцо бинтов не оставляло ему свободы двигать тяжёлой тупой головой, буро заросшей.

Этот больной хрипло рассказывал другим, слушавшим с коек. При входе Русанова он повернулся к нему всем корпусом, с которым наглухо сливалась голова, посмотрел без участия и сказал:

– А вот – ещё один рачок.

Павел Николаевич не счёл нужным ответить на эту фамильярность. Он чувствовал, что и вся комната сейчас смотрит на него, но ему не хотелось ответно оглядывать этих случайных людей и даже здороваться с ними. Он лишь отодвигающим движением повёл рукою в воздухе, указывая бурому больному посторониться. Тот пропустил Павла Николаевича и опять так же всем корпусом с приклёпанной головой повернулся вослед.

– Слышь, браток, у тебя рак – чего? – спросил он нечистым голосом.

Павла Николаевича, уже дошедшего до своей койки, как заскобило от этого вопроса. Он поднял глаза на нахала, стараясь не выйти из себя (но всё-таки плечи его дёрнулись), и сказал с достоинством:

– Ни чего. У меня вообще не рак.

Бурый просопел и присудил на всю комнату:

- Ну и дурак! Если б не рак - разве б сюда положили?

2

В этот первый же вечер в палате за несколько часов Павлу Николаевичу стало жутко.

Твёрдый комок опухоли - неожиданной, ненужной, бессмысленной, никому не полезной - притащил его сюда, как крючок тащит рыбу, и бросил на эту железную койку - узкую, жалкую, со скрипящей сеткой, со скудным матрасиком. Стоило только переодеться под лестницей, проститься с родными и подняться в эту палату - как захлопнулась вся прежняя жизнь, а здесь выперла такая мерзкая, что от неё ещё жутче стало, чем от самой опухоли. Уже не выбрать было приятного, успокаивающего, на что смотреть, а надо было смотреть на восемь пришибленных существ, теперь ему как бы равных, - восемь больных в бело-розовых, сильно уже слинявших и поношенных пижамках, где залатанных, где надорванных, почти всем не по мерке. И уже не выбрать было, что слушать, а надо было слушать нудные разговоры этих сбродных людей, совсем не касавшиеся Павла Николаевича и неинтересные ему. Он охотно приказал бы им замолчать, и особенно этому надоедному буроволосому с бинтовым охватом по щеи и защемлённой головой - его просто Ефремом все звали, хотя был он не молод.

Но Ефрем никак не умирался, не ложился и из палаты никуда не уходил, а беспокойно похаживал средним проходом вдоль комнаты. Иногда он взмарщивался, перекашивался лицом, как от укола, брался за голову. Потом опять ходил. И, походив так, останавливался именно у кровати Русанова, переклонялся к нему через спинку всей своей негнущейся верхней половиной, выставлял широкое конопатое хмурое лицо и внушал:

- Теперь всё, профессор. Домой не вернёшься, понятно?

В палате было очень тепло, Павел Николаевич лежал сверх одеяла в пижаме и тюбетейке. Он поправил очки с золочёным ободочком, посмотрел на Ефрема строго, как умел смотреть, и ответил:

– Я не понимаю, товарищ, чего вы от меня хотите? И зачем вы меня запугиваете? Я ведь вам вопросов не задаю.

Ефрем только фыркнул злобно:

– Да уж задавай не задавай, а домой не вернёшься. Очки вон можешь вернуть. Пижаму новую.

Сказав такую грубость, он выпрямил неповоротливое туловище и опять зашагал по проходу, нелёгкая его несла.

Павел Николаевич мог, конечно, оборвать его и поставить на место, но для этого он не находил в себе обычной воли: она упала и от слов обмотанного чёрта ещё опускалась. Нужна была поддержка, а его в яму сталкивали. В несколько часов Русанов как потерял всё положение своё, заслуги, планы на будущее – и стал семью десятками килограммов тёплого белого тела, не знающего своего завтра.

Наверно, тоска отразилась на его лице, потому что в одну из следующих проходок Ефрем, став напротив, сказал уже миролюбиво:

– Если и попадёшь домой – ненадолго, а-апять сюда. Рак людей любит. Кого рак клешнёй схватит – то уж до смерти.

Не было сил Павла Николаевича возражать – и Ефрем опять занялся ходить. Да и кому было в комнате его осадить! – все лежали какие-то прибитые или нерусские. По той стене, где из-за печного выступа помещалось только четыре койки, одна койка – прямо против русановской, ноги к ногам через проход, – была Ефремова, а на трёх остальных совсем были юнцы: простоватый смуглявый хлопец у печки, молодой узбек с костылём, а у окна – худой, как глист, и скрюченный на своей койке пожелтевший стонущий парень. В этом же ряду, где был Павел Николаевич, налево лежали два нацмена, потом у двери русский пацан, рослый, стриженный под машинку, сидел читал, – а по другую руку на последней приоконной койке тоже сидел будто русский, но не обрадуешься такому соседству: морда у него была бандитская. Так он выглядел, наверно, от шрама (начинался шрам близ угла рта и переходил по низу левой щеки почти на шею); а может быть, от непричёсанных дыбливых чёрных волос, торчавших и вверх, и вбок; а может, вообще от грубого жёсткого выражения. Бандюга этот

туда же тянулся, к культуре – дочитывал книгу.

Уже горел свет – две яркие лампы с потолка. За окнами стемнело. Ждали ужина.

– Вот тут старик есть один, – не унимался Ефрем, – он внизу лежит, операция ему завтра. Так ему ещё в сорок втором году рачок маленький вырезали и сказали – пустяки, иди гуляй. Понял? – Ефрем говорил будто бойко, а голос был такой, как самого бы резали. – Тринадцать лет прошло, он и забыл про этот диспансер, водку пил, баб трепал – нотный старик, увидишь. А сейчас рачище у него та-кой вырос! – Ефрем даже чмокнул от удовольствия. – Прямо со стола да как бы не в морг.

– Ну хорошо, довольно этих мрачных предсказаний! – отмахнулся и отвернулся Павел Николаевич и не узнал своего голоса: так неавторитетно, так жалобно он прозвучал.

А все молчали. Ещё нудьги нагонял этот исхудалый, всё вертящийся парень у окна в том ряду. Он сидел – не сидел, лежал – не лежал, скрючился, подобрал коленки к груди, и, никак не находя удобнее, перевалился головой уже не к подушке, а к изножью кровати. Он тихо-тихо стонал, гримасами и подёргиваниями выражая, как ему больно.

Павел Николаевич отвернулся и от него, спустил ноги в шлёпанцы и стал бессмысленно инспектировать свою тумбочку, открывая и закрывая то дверцу, где были густо сложены у него продукты, то верхний ящичек, где легли туалетные принадлежности и электробритва.

А Ефрем всё ходил, сложив руки в замок перед грудью, иногда вздрагивал от уколов и гудел своё, как припев, как по покойнику:

– Так что – сикиверное наше дело... очень сикиверное...

Лёгкий хлопок раздался за спиной Павла Николаевича. Он обернулся туда осторожно, потому что каждое шевеление шеи отдавалось болью, и увидел, что это его сосед, полубандит, хлопнул коркой прочтённой книги и вертел её в своих больших шершавых руках. Наискось по тёмно-синему переплёту, и такая же по корешку, шла тиснённая золотом и уже потускневшая роспись писателя. Чья это роспись, Павел Николаевич не разобрал, а спрашивать у такого типа не

хотелось. Он придумал соседу прозвище – Оглоед. Очень подходило.

Оглоед угрюмыми глазищами смотрел на книгу и объявил беззастенчиво громко на всю комнату:

– Если б не Дёмка эту книгу в шкафу выбирал, так поверить бы нельзя, что нам её не подкинули.

– Чего – Дёмка? Какую книгу? – отозвался пацан от двери, читая своё.

– По всему городу шарь – пожалуй, нарочно такой не найдёшь. – Оглоед смотрел в широкий тупой затылок Ефрема (давно не стриженные, от неудобства его волосы налезали на повязку), потом в напряжённое лицо. – Ефрем! Хватит скулить. Возьми-ка вот книжку почитай.

Ефрем остановился как бык, посмотрел мутно.

– А зачем – читать? Зачем, как все подохнем скоро?

Оглоед шевельнул шрамом:

– Вот потому и торопись, что скоро подохнем. На, на.

Он уже протягивал книгу Ефрему, но тот не шагнул:

– Много тут читать. Не хочу.

– Да ты неграмотный, что ли? – не очень-то и уговаривал Оглоед.

– Я – даже очень грамотный. Где мне нужно – я очень грамотный.

Оглоед пошарил за карандашом на подоконнике, открыл книгу сзади и, просматривая, кое-где поставил точки.

– Не бои?сь, – бормотнул он, – тут рассказышки маленькие. Вот эти несколько – попробуй. Да надоел больно, скулишь. Почитай.

– А Ефрем ничего не бое?тся! – Он взял книгу и перешвырнул к себе на койку.

На одном костыле прохромал из двери молодой узбек Ахмаджан – один весёлый в комнате. Объявил:

– Ложки к бою!

И смуглявый у печки оживился:

– Вечерю несут, хлопцы!

Показалась раздатчица в белом халате, держа поднос выше плеча. Она перевела его перед себя и стала обходить койки. Все, кроме измученного парня у окна, зашевелились и разбирали тарелки. На каждого в палате приходилась тумбочка, и только у пацана Дёмки не было своей, а пополам с ширококостым казахом, у которого распух над губою неперебинтованный безобразный тёмно-бурый струп.

Не говоря о том, что Павлу Николаевичу и вообще сейчас было не до еды, даже до своей домашней, но один вид этого ужина – прямоугольной резиновой манной бабки с желейным жёлтым соусом, и этой нечистой серой алюминиевой ложки с дважды перекрученным стеблом, – только ещё раз горько напомнил ему, куда он попал и какую, может быть, сделал ошибку, согласясь на эту клинику.

А все, кроме стонущего парня, дружно принялись есть. Павел Николаевич не взял тарелку в руки, а постучал ноготком по её ребру, оглядываясь, кому б её отдать. Одни сидели к нему боком, другие спиной, а тот хлопец у двери как раз видел его.

– Тебя как зовут? – спросил Павел Николаевич, не напрягая голоса (тот должен был сам услышать).

Стучали ложки, но хлопец понял, что обращаются к нему, и ответил готовно:

– Прошка... той, э-э-э... Прокофий Семёныч.

– Возьми.

- Та шо ж, можно... - Прошка подошёл, взял тарелку, кивнул благодарно.

А Павел Николаевич, ощущая жёсткий комок опухоли под челюстью, вдруг сообразил, что ведь он здесь был не из лёгких. Изо всех девяти только один был перевязан - Ефрем, и в таком месте как раз, где могли порезать и Павла Николаевича. И только у одного были сильные боли. И только у того здорового казаха через койку - тёмно-багровый струп. И вот - костыль у молодого узбека, да и то он лишь чуть на него приступал. А у остальных вовсе не было заметно снаружи никакой опухоли, никакого безобразия, они выглядели как здоровые люди. Особенно - Прошка, он был румян, как будто в доме отдыха, а не в больнице, и с большим аппетитом вылизывал сейчас тарелку. У Оглоеда хоть была серизна в лице, но двигался он свободно, разговаривал развязно, а на бабу так накинулся, что мелькнуло у Павла Николаевича - не симулянт ли он, пристроился на государственных харчах, благо в нашей стране больных кормят бесплатно.

А у Павла Николаевича сгусток опухоли поддавливал под голову, мешал поворачиваться, рос по часам - но врачи здесь не считали часов: от самого обеда и до ужина никто не смотрел Русанова и никакого лечения не было применено. А ведь доктор Донцова заманила его сюда именно экстренным лечением. Значит, она совершенно безответственна и преступно халатна. Русанов же поверил ей и терял золотое время в этой тесной, затхлой, нечистой палате, вместо того чтобы созваниваться с Москвой и лететь туда.

И это сознание делаемой ошибки, обидного промедления, наложенное на его тоску от опухоли, так защемило сердце Павла Николаевича, что непереносимо было ему слышать что-нибудь, начиная с этого стука ложек по тарелкам, и видеть эти железные кровати, грубые одеяла, стены, лампы, людей. Ощущение было, что он попал в западню, и до утра нельзя сделать никакого решительного шага.

Глубоко несчастный, он лёг и своим домашним полотенцем закрыл глаза от света и ото всего. Чтоб отвлечься, он стал перебирать дом, семью, чем они там могут сейчас заниматься. Юра уже в поезде. Его первая практическая инспекция. Очень важно правильно себя показать. Но Юра - не напористый, растяпа он, как бы не опозорился. Авиета - в Москве, на каникулах. Немножко развлечься, по театрам побегать, а главное - с целью деловой: присмотреться, как и что, может быть завязать связи, ведь пятый курс, надо правильно сориентироваться в жизни. Авиета будет толковая журналистка, очень деловая,

и, конечно, ей надо перебираться в Москву, здесь ей будет тесно. Она такая умница и такая талантливая, как никто в семье, – опыта у неё недостаточно, но как же она всё на лету схватывает! Лаврик – немножко шалопай, учится так себе, но в спорте – просто талант, уже ездил на соревнования в Ригу, там жил в гостинице, как взрослый. Он уже и машину гоняет. Теперь при Досаафе занимается на получение прав. Во второй четверти схватил две двойки, надо выправлять. А Майка сейчас уже, наверно, дома, на пианино играет (до неё в семье никто не играл). А в коридоре лежит Джульбарс на коврик. Последний год Павел Николаевич пристрастился сам его по утрам выводить, это и себе полезно. Теперь будет Лаврик выводить. Он любит – притравит немножко на прохожего, а потом: вы не пугайтесь, я его держу!

Но вся дружная образцовая семья Русановых, вся их налаженная жизнь, безупречная квартира – всё это за несколько дней отделилось от него и оказалось по ту сторону опухоли. Они живут и будут жить, как бы ни кончилось с отцом. Как бы они теперь ни волновались, ни заботились, ни плакали – опухоль задвигала его как стена, и по эту сторону оставался он один.

Мысли о доме не помогли, и Павел Николаевич постарался отвлечься государственными мыслями. В субботу должна открыться сессия Верховного Совета Союза. Ничего крупного как будто не ожидается, утвердят бюджет. Когда сегодня он уезжал из дому в больницу, начали передавать по радио большой доклад о тяжёлой промышленности. А здесь, в палате, даже радио нет, и в коридоре нет, хорошенькое дело! Надо хоть обезпечить «Правду» без перебоя. Сегодня – о тяжёлой промышленности, а вчера – постановление об увеличении производства продуктов животноводства. Да! Очень энергично развивается экономическая жизнь, и предстоят, конечно, крупные преобразования разных государственных и хозяйственных организаций.

И Павлу Николаевичу стало представляться, какие именно могут произойти реорганизации в масштабах республики и области. Эти реорганизации всегда празднично волновали, на время отвлекали от будней работы, работники созванивались, встречались и обсуждали возможности. И в какую бы сторону реорганизации ни происходили, иногда в противоположные, никого никогда, в том числе и Павла Николаевича, не понижали, а только всегда повышали.

Но и этими мыслями не отвлёкся он и не оживился. Кольнуло под шейю – и опухоль, глухая, безчувственная, вдвинулась и заслонила весь мир. И опять: бюджет, тяжёлая промышленность, животноводство и реорганизации – всё это

осталось по ту сторону опухоли. А по эту – Павел Николаевич Русанов. Один.

В палате раздался приятный женский голосок. Хотя сегодня ничто не могло быть приятно Павлу Николаевичу, но этот голосок был просто лакомый:

– Температурку померим! – будто она обещала раздавать конфеты.

Русанов стянул полотенце с лица, чуть приподнялся и надел очки. Счастье какое! – это была уже не та унылая чёрная Мария, а плотненькая, подобранная, и не в косынке углом, а в шапочке на золотистых волосах, как носили доктора.

– Азовкин! А, Азовкин! – весело окликала она молодого человека у окна, стоя над его койкой. Он лежал ещё странней прежнего – наискось кровати, ничком, с подушкой под животом, упершись подбородком в матрас, как кладёт голову собака, и смотрел в прутья кровати, отчего получался как в клетке. По его обтянутому лицу переходили тени внутренних болей. Рука свисала до полу.

– Ну, подберитесь! – стыдила сестра. – Силы у вас есть. Возьмите термометр сами.

Он еле поднял руку от пола, как ведро из колодца, взял термометр. Так был он обезсилен и так углубился в боль, что нельзя было поверить, что ему лет семнадцать, не больше.

– Зоя! – попросил он стонуще. – Дайте мне грелку.

– Вы – враг сам себе, – строго сказала Зоя. – Вам давали грелку, но вы её клали не на укол, а на живот.

– Но мне так легчает, – страдальчески настаивал он.

– Вы себе опухоль так отрицаете, вам объясняли. В онкологическом вообще грелки не положены, для вас специально доставали.

– Ну, я тогда колоть не дам.

Но Зоя уже не слушала и, постукивая пальчиком по пустой кровати Оглоеда, спросила:

- А где Костоглотов?

(Ну надо же! – как Павел Николаевич верно схватил! Костоглот – Оглоед – точно!)

- Курить пошёл, – отозвался Дёмка от двери. Он всё читал.

- Он у меня докурится! – проворчала Зоя.

Какие же славные бывают девушки! Павел Николаевич с удовольствием смотрел на её тугую затянутую кругловатость и чуть навывкате глаза – смотрел с безкорыстным уже любованием и чувствовал, что смягчается. Улыбаясь, она протянула ему термометр. Она стояла как раз со стороны опухоли, но ни бровью не дала понять, что ужасается или не видела таких никогда.

- А мне никакого лечения не прописано? – спросил Русанов.

- Пока нет, – извинилась она улыбкой.

- Но почему же? Где врачи?

- У них рабочий день кончился.

На Зою нельзя было сердиться, но кто-то же был виноват, что Русанова не лечили! И надо было действовать! Русанов презирал бездействие и слякотные характеры. И, когда Зоя пришла отбирать термометры, он спросил:

- А где у вас городской телефон? Как мне пройти?

В конце концов, можно было сейчас решиться и позвонить товарищу Остапенко! Простая мысль о телефоне вернула Павлу Николаевичу его привычный мир. И мужество. И он почувствовал себя снова борцом.

- Тридцать семь, - сказала Зоя с улыбкой и на новой температурной карточке, повешенной в изножье его кровати, поставила первую точку графика. - Телефон - в регистратуре. Но вы сейчас туда не пройдёте. Это - с другого парадного.

- Позвольте, девушка! - Павел Николаевич приподнялся и построжел. - Как может в клинике не быть телефона? Ну, а если сейчас что-нибудь случится? Вот со мной, например.

- Побежим - позвоним, - не испугалась Зоя.

- Ну а если буран, дождь проливной?

Зоя уже перешла к соседу, старому узбеку, и продолжала его график.

- Днём и прямо ходим, а сейчас заперто.

Приятная-приятная, а дерзкая: не дослушав, уже перешла к казаху. Невольно повышая голос ей вослед, Павел Николаевич воскликнул:

- Так должен быть другой телефон! Не может быть, чтоб не было!

- Он есть, - ответила Зоя из присядки у кровати казаха. - Но в кабинете главврача.

- Ну так в чём дело?

- Дёма... Тридцать шесть и восемь... А кабинет заперт. Низамутдин Бахрамович не любит...

И ушла.

В этом была логика. Конечно, неприятно, чтобы без тебя ходили в твой кабинет. Но в больнице как-то же надо придумать...

На мгновение болтнулся проводок к миру внешнему - и оборвался. И опять весь мир закрыла опухоль величиной с кулак, подставленный под челюсть.

Павел Николаевич достал зеркальце и посмотрел. Ух, как же её разносило! Посторонними глазами и то страшно на неё взглянуть – а своими?! Ведь такого не бывает! Вот кругом ни у кого же нет! Да за сорок пять лет жизни Павел Николаевич ни у кого не видел такого уродства!..

Не стал уж он определять – ещё выросла или нет, спрятал зеркало да из тумбочки немного достал, пожевал.

Двух самых грубых – Ефрема и Оглоеда – в палате не было, ушли. Азовкин у окна ещё по-новому извернулся, но не стонал. Остальные вели себя тихо, слышалось перелистывание страниц, некоторые легли спать. Оставалось и Русанову заснуть. Скоротать ночь, не думать – а уж утром дать взбучку врачам.

И он разделся, лёг под одеяло, накрыл голову полотенцем и попробовал заснуть.

Но в тишине особенно стало слышно и раздражало, как где-то шепчут и шепчут – и даже прямо в ухо Павлу Николаевичу. Он не выдержал, сорвал полотенце с лица, приподнялся, стараясь не сделать больно шее, и обнаружил, что это шепчет его сосед-узбек – высохший, худенький, почти коричневый старик с клинышком маленькой чёрной бородки и в коричневой же потёртой тюбетейке.

Он лежал на спине, заложив руки за голову, смотрел в потолок и шептал – молитвы, что ли, старый дурак?

– Э! Аксакал! – погрозил ему пальцем Русанов. – Перестань! Мешаешь!

Аксакал смолк. Опять Русанов лёг и накрылся полотенцем. Но уснуть всё равно не мог. Теперь он понял, что успокоиться ему мешает режущий свет двух подпотолочных ламп – не матовых и плохо закрытых абажурами. Даже через полотенце ощущался этот свет. Павел Николаевич крикнул, опять на руках приподнялся от подушки, ладя, чтоб не кольнула опухоль.

Прошка стоял у своей кровати близ выключателя и начинал раздеваться.

– Молодой человек! Потушите-ка свет! – распорядился Павел Николаевич.

– Та ще... лекарства нэ принэслы... – замялся Прошка, но приподнял руку к выключателю.

– Что значит – «потушите»? – зарычал сзади Русанова Оглоед. – Укоротитесь, вы тут не один.

Павел Николаевич сел как следует, надел очки и, поберегая опухоль, визжа сеткой, обернулся:

– А вы повежливей можете разговаривать?

Грубиян скорчил кривоватую рожу и ответил низким голосом:

– Не оттягивайте, я не у вас в аппарате.

Павел Николаевич метнул в него сжигающим взглядом, но на Оглоеда это не подействовало ничуть.

– Хорошо, а зачем нужен свет? – вступил Русанов в мирные переговоры.

– В заднем проходе ковырять, – сгрубил Костоглотов.

Павлу Николаевичу стало трудно дышать, хотя, кажется, уж он обдышался в палате. Этого нахала надо было в двадцать минут выписать из больницы и отправить на работу! Но в руках не было никаких конкретных мер воздействия.

– Так если почитать или что другое – можно выйти в коридор, – справедливо указал Павел Николаевич. – Почему вы присваиваете себе право решать за всех? Тут – разные больные, и надо делать различия...

– Сделают, – оклычился тот. – Вам некролог напишут, член с такого-то года, а нас – ногами вперёд.

Такого необузданного неподчинения, такого неконтролируемого своеволия Павел Николаевич никогда не встречал, не помнил. И он даже терялся – что можно противопоставить? Не жаловаться же этой девчёнке. Приходилось пока самым достойным образом прекратить разговор. Павел Николаевич снял очки,

осторожно лёг и накрылся полотенцем.

Его разрывало от негодования и тоски, что он поддался и лёг в эту клинику. Но не поздно будет завтра же и выписаться.

На часах его было начало девятого. Что ж, он решил теперь всё терпеть. Когда-нибудь же они успокоятся.

Но опять началась ходьба и тряска между кроватями – это, конечно, Ефрем вернулся. Старые половицы комнаты отзывались на его шаги и передавались Русанову через койку и подушку. Но уж решил Павел Николаевич замечания ему не делать, терпеть.

Сколько ещё в нашем населении неискоренённого хамства! И как его с этим грузом вести в новое общество!

Безконечно тянулся вечер! Начала приходить сестра – один раз, второй, третий, четвёртый, одному несла микстуру, другому порошок, третьего и четвёртого колола. Азовкин вскрикивал при уколе, опять клянчил грелку, чтоб рассасывалось. Ефрем продолжал топтать туда-сюда, не находил покоя. Ахмаджан разговаривал с Прошкой, и каждый со своей кровати. Как будто все только сейчас и оживали по-настоящему, как будто ничто их не заботило и нечего было лечить. Даже Дёмка не ложился спать, а пришёл и сел на койку Костоглотова, и тут, над самым ухом Павла Николаевича, они бубнили.

– Побольше стараюсь читать, – говорил Дёмка, – пока время есть. В университет поступить охота.

– Это хорошо. Только учти: образование ума не прибавляет.

(Чему учит ребёнка, Оглоед!)

– Как не прибавляет?!

– Так вот.

– А что ж прибавляет?

- Ж-жизнь.

Дёмка помолчал, ответил:

- Я не согласен.

- У нас в части комиссар такой был, Пашкин, он всегда говорил: образование ума не прибавляет. И звание – не прибавляет. Иному добавят звёздочку, он думает – и ума добавилось. Нет.

- Так что ж тогда – учиться не надо? Я не согласен.

- Почему не надо? Учись. Только для себя помни, что ум – не в этом.

- А в чём же ум?

- В чём ум? Глазам своим верь, а ушам не верь. На какой же ты факультет хочешь?

- Да вот не решил. На исторический хочется, и на литературный хочется.

- А на технический?

- Не-а.

- Странно. Это в наше время так было. А сейчас ребята все технику любят. А ты – нет?

- Меня... общественная жизнь очень разжигает.

- Общественная?.. Ох, Дёмка, с техникой – спокойней жить. Учись лучше приёмники собирать.

- А чего мне – покойней!.. Сейчас вот если месяца два тут полежу – надо за девятый класс подогнать, за второе полугодие.

- А учебники?

- Да два у меня есть. Стереометрия очень трудная.

- Стереометрия?! А ну, тащи сюда!

Слышно было, как пацан пошёл и вернулся.

- Так, так, так... Стереометрия Киселёва, старушка... Та же самая... Прямая и плоскость, параллельные между собой... Если прямая параллельна какой-нибудь прямой, расположенной в плоскости, то она параллельна и самой плоскости... Чёрт возьми, вот книжечка, Дёмка! Вот так бы все писали! Толщины никакой, да? А сколько тут напихано!

- Полтора года по ней учат.

- И я по ней учился. Здорово знал!

- А когда?

- Сейчас тебе скажу. Тоже вот так девятый класс, со второго полугодия... значит, в тридцать седьмом и в тридцать восьмом. Чудно в руках держать. Я геометрию больше всего любил.

- А потом?

- Что потом?

- После школы.

- После школы я на замечательное отделение поступил - геофизическое.

- Это где?

- Там же, в Ленинграде.

- И что?

- Первый курс кончил, а в сентябре тридцать девятого вышел указ брать в армию с девятнадцати, и меня загребли.

- А потом?

- Потом действительную служил.

- А потом?

- А потом - не знаешь, что было? Война.

- Вы - офицер были?

- Не, сержант.

- А почему?

- А потому что если все в генералы пойдут, некому будет войну выигрывать... Если плоскость проходит через прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает эту плоскость, то линия пересечения... Слушай, Дёмка! Давай я с тобой каждый день буду стереометрией заниматься? Ох, двинем! Хочешь?

- Хочу.

(Этого ещё не хватало, над ухом.)

- Буду уроки тебе задавать.

- Задавай.

- А то правда время пропадает. Прямо сейчас и начнём. Разберём вот эти три аксиомы. Аксиомы эти, учти, на вид простенькие, но они потом в каждой теореме скрытно будут содержаться, и ты должен видеть - где. Вот первая: если две точки прямой принадлежат плоскости, то и каждая точка этой прямой

принадлежит ей. В чём тут смысл? Вот пусть эта книжка будет плоскость, а карандаш – прямая, так? Теперь попробуй расположить...

Заладили и долго ещё гудели об аксиомах и следствиях. Но Павел Николаевич решил терпеть, демонстративно повёрнутый к ним спиной. Наконец замолчали и разошлись. С двойным снотворным заснул и умолк Азовкин. Так тут начал кашлять аксакал, к которому Павел Николаевич повёрнут был лицом. И свет уже потушили, а он, проклятый, кашлял и кашлял, да так противно, подолгу, со свистом, что, казалось, задохнётся.

Повернулся Павел Николаевич спиной и к нему. Он снял полотенце с головы, но настоящей темноты всё равно не было: падал свет из коридора, там слышался шум, хождение, гремели плевательницами и вёдрами.

Не спалось. Давила опухоль. Такая счастливая, такая полезная жизнь была на обрыве. Было очень жалко себя. Одного маленького толчка не хватало, чтоб выступили слёзы.

И толчок этот не упустил добавить Ефрем. Он и в темноте не унялся и рассказывал Ахмаджану по соседству идиотскую сказку:

– А зачем человеку жить сто лет? И не надо. Это дело было вот как. Раздавал, ну, Аллах жизнь и всем зверям давал по пятьдесят лет, хватит. А человек пришёл последний, и у Аллаха оставалось только двадцать пять.

– Четвертная, значит? – спросил Ахмаджан.

– Ну да. И стал обижаться человек: мало! Аллах говорит: хватит. А человек: мало! Ну, тогда, мол, пойдя сам спроси, может у кого лишнее, отдаст. Пошёл человек, встречает лошадь. «Слушай, – говорит, – мне жизни мало. Уступи от себя». – «Ну, на, возьми двадцать пять». Пошёл дальше, навстречу собака. «Слушай, собака, уступи жизни!» – «Да возьми двадцать пять!» Пошёл дальше. Обезьяна. Выпросил и у неё двадцать пять. Вернулся к Аллаху. Тот и говорит: «Как хочешь, сам ты решил. Первые двадцать пять лет будешь жить как человек. Вторые двадцать пять будешь работать как лошадь. Третьи двадцать пять будешь гавкать как собака. И ещё двадцать пять над тобой, как над обезьяной, смеяться будут...»

Хотя Зоя была толкова, проворна и очень быстро сновала по своему этажу от стола к кроватям и снова к столу, она увидела, что не успевает выполнить к отбою всех назначений. Тогда она подошла, чтоб кончить и погасить в мужской палате и в малой женской. В большой же женской – огромной, где стояло больше тридцати коек, – женщины никогда не угоманивались вовремя, гаси им свет или не гаси. Многие там лежали подолгу, утомились от больницы, сон у них был плох, душно, постоянно шёл спор – держать ли балконную дверь открытой или закрытой. А было и несколько изошрённых любительниц поговорить из угла в угол. До полуночи и до часу ночи тут всё обсуждали то цены, то продукты, то мебель, то детей, то мужей, то соседок – и до самых безстыжих разговоров.

А сегодня там ещё мыла пол санитарка Нэля – крутозадая горластая девка с большими бровями и большими губами. Она давно уже начала, но никак не могла кончить, встречая в каждый разговор. Между тем ждал своей ванночки Сибгатов, чья кровать стояла в вестибюле перед входом в мужскую палату. Из-за этих вечерних ванночек, а также стесняясь дурного запаха от своей спины, Сибгатов добровольно оставался лежать в вестибюле, хотя он был здесь издавнее всех старожилов – уж будто и не больной, а на постоянной службе.

Быстро мелькая по женской палате, Зоя сделала Нэле одно замечание и второе, но Нэля только огрызнулась, а подвигалась медленно. Она была не моложе Зои и считала обидой подчиняться девчёнке. Зоя пришла сегодня на работу в праздничном настроении, но это сопротивление санитарки раздражало её. Вообще Зоя считала, что всякий человек имеет право на свою долю свободы и, приходя на работу, тоже не обязательно должен выложиться до изнемоги, но где-то была разумная мера, а тем более находясь при больных.

Наконец и Зоя всё раздала и кончила, и Нэля дотёрла пол, потушили свет у женщин, потушили и в вестибюле верхний, был уже двенадцатый час, когда Нэля развела тёплый раствор на первом этаже и оттуда принесла Сибгатову в его постоянном тазике.

– О-о-ой, уморилась, – громко зевнула она. – Закачусь я минуток на триста. Слушай, больной, ты ведь целый час будешь сидеть, тебя не дождёшься. Ты потом сам снеси тазик вниз, вылей, а?

(В этом крепком старом здании с просторными вестибюлями не было наверху слива.)

Каким Шараф Сибгатов был раньше – уж теперь нельзя было догадаться, не по чему судить: страдание его было такое долгое, что от прежней жизни уже как бы ничего и не осталось. Но после трёх лет непрерывной гнетучей болезни этот молодой татарин был самый кроткий, самый вежливый человек во всей клинике. Он часто слабо-слабо улыбался, как бы извиняясь за долгие хлопоты с собой. За свои четырёх- и шестимесячные лежанья он тут знал всех врачей, сестёр и санитарок как своих, и они его знали. А Нэля была новенькая, несколько недель.

– Мне тяжело будет, – тихо возразил Сибгатов. – Если куда отлить, я бы по частям отнёс.

Но зюин стол был близко, она слышала и прискочила:

– Как тебе не стыдно! Ему спину искривлять нельзя, так он тебе таз понесёт, да?

Она это всё как бы выкрикнула, но полушёпотом, никому, кроме них троих, не слышно. А Нэля спокойно отозвалась, но на весь второй этаж:

– А чего стыдно? Я тоже как сучка затомилась.

– Ты на дежурстве! Тебе деньги платят! – ещё приглушённой возмущалась Зоя.

– Хой! Платят! Разве эт деньги? Я на текстильном и то больше заработаю.

– Тш-ш! Тише ты можешь?

– О-о-ой, – вздохнула-простонала на весь вестибюль ширококудрая Нэля. – Милая подружка подушка! Спать-то как хочется-а... Ту ночь с шоферами прогуляла... Ну ладно, больной, ты тазик потом подсунь под кровать, я утром вынесу.

Глубоко-затяжно зевнув, не покрывая рта, в конце зевка сказала Зое:

– Тут я, в заседаниях буду, на диванчике.

И, не дожидаясь разрешения, пошла к угловой двери – там была с мягкой мебелью комната врачебных заседаний и пятиминуток.

Она оставляла ещё многою недоделанную работу, невычищенные плевательницы, и в вестибюле можно было помыть пол, но Зоя посмотрела ей в широкую спину и сдержалась. Не так давно и сама она работала, но начинала понимать этот досадный принцип: кто не тянет, с того и не спросишь, а кто тянет – и за двоих потянет. Завтра с утра заступит Елизавета Анатольевна, она вычистит и вымоет за Нэлю и за себя.

Теперь, когда Сибгатова оставили одного, он обнажил крестец, в неудобном положении опустил в тазик на полу около кровати – и так сидел, очень тихо. Ото всякого неосторожного движения ему было больно в кости, но ещё бывало паляще больно и от касания к повреждённому месту, даже от постоянного касания бельём. Что там у него сзади, он не видел никогда, только иногда нащупывал пальцами. В позапрошлом году в эту клинику его внесли на носилках – он не мог вставать и ногами двигать. Его смотрели тогда многие доктора, но лечила всё время Людмила Афанасьевна. И за четыре месяца боль совсем прошла! – он свободно ходил, наклонялся и ни на что не жаловался. При выписке он руки целовал Людмиле Афанасьевне, а она его только предупреждала: «Будь осторожен, Шараф! Не прыгай, не ударяйся!» Но на такую работу его не взяли, а пришлось опять экспедитором. Экспедитору – как не прыгать из кузова на землю? Как не помочь грузчику и шофёру? Но всё было ничего до одного случая – покатила с машины бочка и ударила Шарафа как раз в больное место. И на месте удара загноилась рана. Она не заживала. И с тех пор Сибгатов стал как цепью прикован к раковому диспансеру.

С непроходящим чувством досады Зоя села за стол и ещё раз проверяла, все ли процедуры исполнила, дочёркивая расплывающимися чернильными чёрточками по дурной бумаге уже расплывшиеся чернильные строки. Писать рапорт было бесполезно. Да и не в натуре Зои. Надо бы самой справиться, но именно с Нэлей она справиться не умела. Поспать – ничего плохого нет. При хорошей санитарке Зоя и сама бы полночи поспала. А теперь надо сидеть.

Она смотрела в свою бумажку, но слышала, как подошёл мужчина и стал рядом. Зоя подняла голову. Стоял Костоглотов – неукладистый, с недочёсанной угольной головой, большие руки почти не влезали в боковые маленькие карманчики больничной куртки.

- Давно пора спать, - вменила Зоя. - Что рассказываете?

- Добрый вечер, Зоенька, - выговорил Костоглотов как мог мягче, даже нарастяг.

- Спокойной ночи, - летуче улыбнулась она. - Добрый вечер был, когда я за вами с термометром бегала.

- То на службе было, не укоряйте. А сейчас я к вам в гости пришёл.

- Вот как? - (Это уж там само получалось, что подбрасывались ресницы или широко открывались глаза, она этого не обдумывала.) - Почему вы думаете, что я принимаю гостей?

- А потому что по ночным дежурствам вы всегда зубрили, а сегодня учебников не вижу. Сдали последний?

- Наблюдательны. Сдала.

- И что получили? Впрочем, это не важно.

- Впрочем, всё-таки четвёрку. А почему не важно?

- Я подумал: может быть, тройку, и вам неприятно говорить. И теперь каникулы?

Она мигнула с весёлым выражением лёгкости. Мигнула - и прониклась: чего она, в самом деле, расстроилась? Две недели каникул, блаженство! Кроме клиники - больше никуда! Сколько свободного времени! И на дежурствах - можно книжечку почитать, можно вот поболтать.

- Значит, я правильно пришёл в гости?

- Ну, садитесь.

- Скажите, Зоя, но ведь каникулы, если я не забыл, раньше начинались 25 января.

- Так мы осенью на хлопке были. Это каждый год.

- И сколько ж вам лет осталось учиться?

- Полтора.

- А куда вас могут назначить?

Она пожала кругленькими плечами:

- Родина необъятна.

Глаза её с выкатком, даже когда она смотрела спокойно, как будто под веками не помещались, просились наружу.

- Но здесь не оставят?

- Не-ет, конечно.

- И как же вы семью бросите?

- Какую семью? У меня бабушка одна. Бабушку - с собой.

- А папа-мама?

Зоя вздохнула.

- Мама моя умерла.

Костоглотов посмотрел на неё и об отце не спросил.

- А вообще, вы - здешняя?

- Нет, из Смоленска.

– Во-о! И давно оттуда?

– В эвакуацию, когда ж.

– Это вам было... лет девять?

– Ага. Два класса там кончила... А потом здесь с бабушкой застряли.

Зоя потянулась к большой хозяйственной ярко-оранжевой сумке на полу у стены, достала оттуда зеркальце, сняла врачебную шапочку, чуть включила стянутые шапочкой волосы и начесала из них редкую, лёгкой дугой подстриженную золотенькую чёлку.

Золотой отблик отразился и на жёсткое лицо Костоглотова. Он смягчился и следил за ней с удовольствием.

– А ваша где бабушка? – пошутила Зоя, кончая с зеркальцем.

– Моя бабушка, – вполне серьёзно принял Костоглотов, – и мама моя... умерли в блокаду.

– Ленинградскую?

– У-гм. И сестрёнку снарядом убило. Тоже была медсестрой. Козявка ещё.

– Да-а, – вздохнула Зоя. – Сколько погибло в блокаду! Проклятый Гитлер!

Костоглотов усмехнулся:

– Что Гитлер – проклятый, это не требует повторных доказательств. Но всё же ленинградскую блокаду я на него одного не списываю.

– Как?! Почему?

– Ну, как! Гитлер и шёл нас уничтожать. Неужели ждали, что он приотворит калиточку и предложит блокадным: выходите по одному, не толпитесь? Он

воевал, он враг. А в блокаде виноват некто другой.

– Кто же?? – прошептала поражённая Зоя. Ничего подобного она не слышала и не предполагала.

Костоглотов собрал чёрные брови.

– Ну, скажем, тот или те, кто были готовы к войне, даже если бы с Гитлером объединились Англия, Франция и Америка. Кто получал зарплату десятки лет и предусмотрел угловое положение Ленинграда и его оборону. Кто оценил степень будущих бомбардировок и догадался спрятать продовольственные склады под землю. Они-то и задушили мою мать – вместе с Гитлером.

Просто это было, но как-то очень уж ново.

Сибгатов тихо сидел в своей ванночке позади них, в углу.

– Но тогда?.. тогда их надо... судить? – шёпотом предположила Зоя.

– Не знаю. – Костоглотов скривил губы, и без того угловатые. – Не знаю.

Зоя не надевала больше шапочки. Верхняя пуговица её халата была расстёгнута, и виднелся ворот платья иззолота-серый.

– Зоенька. А ведь я к вам отчасти и по делу.

– Ах вот как! – прыгнули её ресницы. – Тогда, пожалуйста, в дневное дежурство. А сейчас – спать! Вы просились – в гости?

– Я – и в гости. Но пока вы ещё не испортились, не стали окончательным врачом – протяните мне человеческую руку.

– А врачи не протягивают?

– Ну, у них и рука не такая... Да и не протягивают. Зоенька, я всю жизнь отличался тем, что не любил быть мартышкой. Меня здесь лечат, но ничего не

объясняют. Я так не могу. Я у вас видел книгу – «Патологическая анатомия». Так ведь?

– Так.

– Это и есть об опухолях, да?

– Да.

– Так вот будьте человеком – принесите мне её! Я должен её полистать и кое-что сообразить. Для себя.

Зоя скруглила губы и покачала головой:

– Но больным читать медицинские книги противопоказано. Даже вот когда мы, студенты, изучаем какую-нибудь болезнь, нам всегда кажется...

– Это кому-нибудь другому противопоказано, но не мне! – прихлопнул Костоглотов по столу большой лапой. – Я уже в жизни пуган-перепуган и отпугался. Мне в областной больнице хирург-кореец, который диагноз ставил, вот под Новый год, тоже объяснять не хотел, а я ему: «Говорите!» – У нас, мол, так не положено! – «Говорите, я отвечаю! Я семейными делами должен распорядиться!» Ну, и он мне лепанул: «Три недели проживёте, больше не ручаюсь!»

– Какое ж он имел право!..

– Молодец! Человек! Я ему руку пожал. Я знать должен! Да если я полгода до этого мучился, а последний месяц не мог уже ни лежать, ни сидеть, ни стоять, чтобы не болело, в сутки спал несколько минут, – так я уже что-то ведь передумал! За эту осень я на себе узнал, что человек может переступить черту смерти, ещё когда тело его не умерло. Ещё что-то там в тебе кровообращается или переварится – а ты уже, психологически, прошёл всю подготовку к смерти. И пережил саму смерть. Всё, что видишь вокруг, видишь уже как бы из гроба, безстрастно. Хотя ты не причислял себя к христианам, и даже иногда напротив, а тут вдруг замечаешь, что ты таки уже простил всем обижавшим тебя и не имеешь зла к гнавшим тебя. Тебе уже просто всё и все безразличны, ничего не

порываешься исправить, ничего не жаль. Я бы даже сказал: очень равновесное состояние, естественное. Теперь меня вывели из него, но я не знаю – радоваться ли. Вернутся все страсти – и плохие, и хорошие.

– Да уж чего задаётесь! Ещё бы не радоваться! Когда вы сюда поступили... Сколько это дней?..

– Двенадцать.

– И вот тут, в вестибюле, на диванчике крутились – на вас смотреть было страшно, лицо покойницкое, не ели ничего, температура тридцать восемь и утром, и вечером – а сейчас? Ходите в гости... Это же чудо – чтоб человек за двенадцать дней так ожил! У нас так редко бывает.

В самом деле – тогда на лице его были как зубилом прорублены глубокие, серые, частые морщины от постоянного напряжения. А сейчас их стало куда меньше, и они посветлели.

– Всё счастье в том, что оказалось – я хорошо переношу рентген.

– Это далеко не часто! Это удача! – с тёплым сердцем сказала Зоя.

Костоготов усмехнулся:

– Жизнь моя так была бедна удачами, что в этой рентгеновской есть своя справедливость. Мне и сны сейчас стали сниться какие-то расплывчато-приятные. Я думаю – это признак выздоровления.

– Вполне допускаю.

– Так тем более мне надо понять и разобраться! Я хочу понять, в чём состоит метод лечения, какие перспективы, какие осложнения. Мне настолько полегчало, что, может, нужно лечение остановить? Это надо понять. Ни Людмила Афанасьевна, ни Вера Корнильевна мне ничего не объясняют, лечат, как обезьяну. Принесите книжечку, Зоя, прошу вас! Я вас не продам.

Он говорил так настоятельно, что оживился.

Зоя в колебании взялась за ручку ящика в столе.

– Она у вас здесь? – догадался Костоглотов. – Зоенька, дайте! – И уже руку вытянул. – Когда вы следующий раз дежурите?

– В воскресенье днём.

– И я вам отдам! Всё! Договорились!

Какая она славная была, незаносчивая, с этой чёлкой золотенькой, с этими чуть выкаченными глазками.

Он только себя не видел, как во всех направлениях были закручены угловатые вихры на его собственной голове, отлёжанные так на подушке, а из-под курточки, недостёгнутой до шеи, с больничною простотой высывался уголок казённой бязевой сорочки.

– Так-так-так, – листал он книгу и лез в оглавление. – Очень хорошо. Тут я всё найду. Вот спасибо. А то, чёрт его знает, ещё, может, перелечат. Им ведь только графу заполнить. Я ещё, может, оторвусь. И хорошая аптека убавит века.

– Ну вот! – всплеснула Зоя ладонями. – Стоило вам давать! А ну-ка назад!

И она потянула книгу одной рукой, потом двумя. Но он легко удерживал.

– Порвём библиотечную! Отдайте!

Круглые плотные плечи её и круглые плотные небольшие руки были как облитые в натянувшемся халате. Шея была ни худа, ни толста, ни коротка, ни вытянута, очень соразмерна.

Перетягивая книгу, они сблизились и смотрели в упор. Его нескладное лицо распустилось в улыбке. И шрам уже не казался таким страшным, да он и был-то побледневший, давний. Свободной рукой мягко отнимая её пальцы от книги, Костоглотов шёпотом уговаривал:

– Зоенька. Ну вы же не за невежество, вы же за просвещение. Как можно мешать людям развиваться? Я пошутил, я никуда не оторвусь.

Напористым шёпотом отвечала и она:

– Да вы уж потому недостойны читать, что – как вы себя запустили? Почему вы не приехали раньше? Почему надо было приезжать уже мертвецом?

– Э-э-эх, – вздохнул Костоглотов уже полувслух. – Транспорта не было.

– Да что это за место такое – транспорта не было? Ну, самолётом! Да почему надо было допускать до последнего? Почему заранее не переехать в более культурное место? Какой-нибудь врач, фельдшер у вас там был?

Она сняла пальцы с книги.

– Врач есть, гинеколог. Даже два...

– Два гинеколога!? – подавилась Зоя. – Так у вас там одни женщины?

– Наоборот, женщин не хватает. Гинеколога два, а других врачей нет. И лаборатории нет. Крови не могли взять на исследование. У меня РОЭ было, оказывается, шестьдесят, и никто не знал.

– Кошмар! И опять берётесь решать – лечиться или нет? Себя не жалеете – хоть бы близких своих пожалели, детей!

– Детей? – будто очнулся Костоглотов, будто вся эта весёлая возня с книгой была во сне, а вот опять он возвращался в своё жёсткое лицо и медленную речь. – У меня никаких детей нет.

– А жена – не человек?

Он стал ещё медленней:

– И жены нет.

– Мужчины всегда, что – нет. А какие ж вы семейные дела собирались улаживать? Корейцу что говорили?

– Так я ему соврал.

– А может мне – сейчас?

– Нет, правда нет. – Лицо Костоглотова тяжелело. – Я переборчив очень.

– Она не выдержала вашего характера? – сочувственно кивнула Зоя.

Костоглотов совсем медленно покачал головой.

– И не было никогда.

Зоя недоумённо оценивала, сколько ж ему лет. Она шевельнула губами раз – и отложила вопрос. И ещё шевельнула – и ещё отложила.

Зоя к Сибгатову сидела спиной, а Костоглотов лицом, и ему было видно, как тот преосторожно поднялся из ванночки, обеими руками держась за поясницу, и просыхал. Вид его был обстрадавшийся: от крайнего горя он уже отстал, а к радости не вызывало его ничто.

Костоглотов вдохнул и выдохнул, как будто это работа была – дышать.

– Ох, закурить хочется! Здесь никак нельзя?

– Никак. И для вас курить – это смерть.

– Ни за что просто?

– Просто ни за что. Особенно при мне.

Но улыбалась.

– А может, одну всё-таки?

– Больные спят, как можно!

Он всё же вытащил пустой длинный наборный мундштук ручной работы и стал его сосать.

– Знаете, как говорят: молодому жениться рано, а старому поздно. – Двумя руками облокотился о её стол и пальцы с мундштуком запустил в волосы. – Чуть-чуть я не женился после войны, хотя: я – студент, она – студентка. Поженились бы всё равно, да пошло кувырком.

Зоя рассматривала малодружелюбное, но сильное лицо Костоглотова. Костлявые плечи, руки – но это от болезни.

– Не сладилось?

– Она... как это называется... погибла. – Один глаз он закрыл в кривой пожимке, а одним смотрел. – Погибла, но вообще – жива. В прошлом году мы обменялись с ней несколькими письмами.

Он расщурился. Увидел в пальцах мундштук и положил его в карманчик назад.

– И, знаете, по некоторым фразам в этих письмах я вдруг задумался: а на самом-то деле тогда, прежде, она была ли таким совершенством, как виделась мне? Может и не была?.. Что мы понимаем в двадцать пять лет?..

Он смотрел в упор на Зою тёмно-коричневыми глазищами:

– Вот вы, например, – что сейчас понимаете в мужчинах? Ни-чер-та!

Зоя засмеялась:

– А может быть, как раз понимаю?

– Никак этого не может быть, – продиктовал Костоглотов. – То, что вы под пониманием думаете, – это не понимание. И выйдете замуж – о-бя-за-тельно ошибётесь.

- Перспективка! – покрутила Зоя головой и из той же большой оранжевой сумки достала и развернула вышиванье: небольшой кусочек, натянутый на пяльцы, на нём уже вышитый зелёный журавль, а лиса и кувшин только нарисованы.

Костоглотов смотрел, как на диво:

- Вышиваете??

- Чему вы удивляетесь?

- Не представлял, что сейчас, и студентка мединститута – может вынуть рукоделие.

- Вы не видели, как девушки вышивают?

- Кроме, может быть, самого раннего детства. В двадцатые годы. И то уже считалось буржуазным. За это б вас на комсомольском собрании выхлестали.

- Сейчас это очень распространено. А вы не видели?

Он покрутил головой.

- И осуждаете?

- Что вы! Это так мило, уютно. Я люблюсь.

Она клала стежок к стежку, давая ему полюбоваться. Она смотрела в вышиванье, а он – на неё. В жёлтом свете лампы отсвечивали призолотой её ресницы. И отзолачивал открытый уголок платья.

- Вы – пчёлка с чёлкой, – прошептал он.

- Как? – Она исподлобья взбросила бровки.

Он повторил.

- Да? - Зоя будто ожидала похвалы и побольше. - А там, где вы живёте, если никто не вышивает, так, может быть, свободно продаются мулине?

- Как-как?

- Му-ли-не. Вот эти нитки - зелёные, синие, красные, жёлтые. У нас очень трудно купить.

- Мулине. Запомню и спрошу. Если есть - обязательно пришлю. А если у нас окажутся неограниченные запасы мулине - так может быть, вам проще переехать самой к нам туда?

- А куда это всё-таки - к вам?

- Да можно сказать - на целину.

- Так вы - на целине? Вы - целинник?

- То есть, когда я туда приехал, никто не думал, что целина. А теперь выяснилось, что - целина, и к нам приезжают целинники. Вот будут распределять - проситесь к нам! Наверняка не откажут. К нам - не откажут.

- Неужели у вас так плохо?

- Ничуть. Просто у людей перевернуты представления - что хорошо и что плохо. Жить в пятиэтажной клетке, чтоб над твоей головой стучали и ходили, и радио со всех сторон, - это считается хорошо. А жить трудолюбивым земледельцем в глинобитной хатке на краю степи - это считается крайняя неудача.

Он говорил ничуть не в шутку, с той утомлённой убеждённой, когда не хочется даже силой голоса укрепить доводы.

- Но степь или пустыня?

- Степь. Барханов нет. Всё же травка кой-какая. Растёт жанта?к - верблюжья колючка, не знаете? Это - колючка, но в июле на ней розоватые цветы и даже очень тонкий запах. Казахи делают из неё сто лекарств.

- Так это в Казахстане?

- У-гм.

- Как же называется?

- Уш-Терек.

- Это - аул?

- Да хотите - аул, а хотите - и районный центр. Больница. Только врачей не хватает. Приезжайте.

Он сощурился.

- И больше ничего не растёт?

- Нет, почему же, есть поливное земледелие. Сахарная свёкла, кукуруза. На огородах вообще всё, что угодно. Только трудиться надо много. С кетменём. На базаре у греков всегда молоко, у курдов баранина, у немцев свинина. А какие живописные базары, вы бы видели! Все в национальных костюмах, приезжают на верблюдах.

- Вы - агроном?

- Нет. Землеустроитель.

- А вообще зачем вы там живёте?

Костоглотов почесал нос:

- Мне там климат очень нравится.

- И нет транспорта?

– Да почему, хо-одят машины, сколько хотите.

– Но зачем всё-таки туда поеду я?

Она смотрела искоса. За то время, что они болтали, лицо Костоглотова подобрело и помягчело.

– Вы? – Он поднял кожу со лба, как бы придумывая тост. – А откуда вы знаете, Зоенька, в какой точке земли вы будете счастливы, в какой – несчастливы? Кто скажет, что знает это о себе?

4

Хирургическим больным, то есть тем, чью опухоль намечено было пресекать операцией, не хватало места в палатах нижнего этажа, и их клали также наверху, попеременно с «лучевыми», кому назначалось облучение или химия. Поэтому наверху каждое утро шло два обхода: лучевики смотрели своих больных, хирурги – своих.

Но четвёртого февраля была пятница, операционный день, и хирурги обхода не делали. Доктор же Вера Корнильевна Гангарт, лечащий врач лучевых, после пятиминутки тоже не пошла сразу обходить, а лишь, поравнявшись с дверью мужской палаты, заглянула туда.

Доктор Гангарт была невысока и очень стройна – казалась очень стройной оттого, что у неё подчёркнуто узко сходилось в поясном перехвате. Волосы её, немодно положенные узлом на затылок, были светлее чёрных, но и темней тёмно-русых – те, при которых нам предлагают невразумительное слово «шатенка», а сказать бы: чёрно-русые – между чёрными и русыми.

Её заметил Ахмаджан и закивал радостно. И Костоглотов успел поднять голову от большой книги и поклониться издали. И она обоим им улыбнулась и подняла палец, как предупреждают детей, чтоб сидели без неё тихо. И тут же, уклоняясь от дверного проёма, ушла.

Сегодня она должна была обходить палаты не одна, а с заведующей лучевым отделением Людмилой Афанасьевной Донцовой, но Людмилу Афанасьевну вызвал и задерживал Низамутдин Бахрамович, главврач.

Только в эти дни своих обходов, раз в неделю, Донцова жертвовала рентгенодиагностикой. Обычно же два первых лучших утренних часа, когда острее всего глаз и яснее ум, она сидела со своим очередным ординатором перед экраном. Она считала это самой сложной частью своей работы и более чем за двадцать лет её поняла, как дорого обходятся ошибки именно в диагнозе. У неё в отделении было три врача, все молодые женщины, и, чтобы опыт каждой из них был равномерен и ни одна не отставала бы от диагностики, Донцова кругообразно сменяла их, держа по три месяца на первичном амбулаторном приёме, в рентгенодиагностическом кабинете и лечащим врачом в клинике.

У доктора Гангарт шёл сейчас этот третий период. Самым главным, опасным и наименее исследованным здесь было – следить за верною дозировкой облучения. Не было такой формулы, по которой можно было бы рассчитать интенсивности и дозы облучений, самые смертоносные для каждой опухоли, самые безвредные для остального тела. Формулы не было, а был – некий опыт, некое чутьё и возможность сверяться с состоянием больного. Это тоже была операция – но лучом, вслепую и растянутая во времени. Невозможно было не ранить и не губить здоровых клеток.

Остальные обязанности лечащего врача требовали только методичности: вовремя назначать анализы, проверять их и делать записи в тридцати историях болезни. Никакой врач не любит исписывать разграфлённые бланки, но Вера Корнильевна примирялась с ними за то, что эти три месяца у неё были свои больные – не бледное сплетение светов и теней на экране, а свои живые постоянные люди, которые верили ей, ждали её голоса и взгляда. И когда ей приходилось передавать обязанности лечащего врача, ей всегда было жалко расставаться с теми, кого она не долечила.

Дежурная медсестра, Олимпиада Владиславовна, пожилая, седоватая, очень осанистая женщина, с виду солиднее иных врачей, объявила по палатам, чтобы лучевые не расходились. Но в большой женской палате только как будто и ждали этого объявления – сейчас же одна за другой женщины в однообразных серых халатах потянулись на лестницу и куда-то вниз: посмотреть, не пришёл ли сметанный дед; и не пришла ли та бабка с молоком; заглядывать с крыльца клиники в окна операционной (поверх забеленной нижней части видны были

шапочки хирургов и сестёр и яркие верхние лампы); и вымыть банку над раковиной; и кого-то навестить.

Не только их операционная судьба, но ещё эти серые бумазейные обтрепавшиеся халаты, неопрятные на вид, даже когда они были вполне чисты, отъединяли, отрывали женщин от их женской доли и женского обаяния. Покрой халатов был никакой: они были все просторны так, чтоб любая толстая женщина могла в любой запахнуться, и рукава шли безформенными широкими трубами. Бело-розовые полосатые курточки мужчин были гораздо аккуратнее, женщинам же не выдавали платья, а только – эти халаты, лишённые петель и пуговиц. Одни подшивали их, другие – удлиняли, все однообразно затягивали бумазейные пояса, чтоб не обнажать сорочек, и так же однообразно стягивали рукою полы на груди. Угнетённая болезнью и убогая в таком халате, женщина не могла обрадовать ничьего взгляда и понимала это.

А в мужской палате все, кроме Русанова, ждали обхода спокойно, малоподвижно.

Старый узбек, колхозный сторож Мурсалимов, лежал, вытянувшись на спине поверх застеленной постели, как всегда в своей вытертой-перевытертой тюбетейке. Он уж тому, должно быть, рад был, что кашель его не рвал. Он сложил руки на задышливой груди и смотрел в одну точку потолка. Его тёмно-бронзовая кожа обтягивала почти череп: видны были реберки носовой кости, скулы, острая подбородочная кость за клинышком бородки. Уши его утончились и были совсем плоские хрящики. Ему уже немного оставалось досохнуть и дотемнеть до мумии.

Рядом с ним средолетний казах чабан Егенбердиев на своей кровати не лежал, а сидел, поджав ноги накрест, будто дома у себя на кошме. Ладонями больших сильных рук он держался за круглые большие колени – и так жёстко сцеплено было его тугое ядрёное тело, что если он и чуть покачивался иногда в своей неподвижности, то лишь как заводская труба или башня. Его плечи и спина распирала курточку, и манжеты её едва не рвались на мускулистых предлокотьях. Небольшая язвочка на губе, с которой он приехал в эту больницу, здесь под трубками обратилась в большой тёмно-багровый струп, который заслонял ему рот и мешал есть и пить. Но он не метался, не суетился, не кричал, а мерно и дочиста выедал из тарелок и вот так спокойно часами мог сидеть, смотря никуда.

Дальше, на придверной койке, шестнадцатилетний Дёма вытянул больную ногу по кровати и всё время чуть поглаживал, массировал грызущее место голени ладонью. А другую ногу он поджал, как котёнок, и читал, ничего не замечая. Он вообще читал всё то время, что не спал и не проходил процедур. В лаборатории, где делались все анализы, у старшей лаборантки был шкаф с книгами, и уже Дёма туда был допущен и менял себе книги сам, не дожидаясь, пока обменят всей палате. Сейчас он читал журнал в синеватой обложке, но не новый, а потрёпанный и выгоревший на солнце – новых не было в шкафу лаборантки.

И Прошка, добросовестно, без морщин и ямок застав свою койку, сидел чинно, терпеливо, спустив ноги на пол, как вполне здоровый человек. Он и был вполне здоров – в палате ни на что не жаловался, не имел никакого наружного поражения, щёки были налиты здоровой смуглостью, а по лбу – выложен гладкий чубчик. Парень он был хоть куда, хоть на танцы.

Рядом с ним Ахмаджан, не найдя с кем играть, положил на одеяло шашечную доску углом и играл сам с собой в уголки.

Ефрем в своей бинтовой, как броневой, обмотке, с некрутящейся головой, не топал по проходу, не нагонял тоски, а, подмостясь двумя подушками повыше, без отрыву читал книгу, навязанную ему вчера Костоглотовым. Правда, страницы он переворачивал так редко, что можно было подумать – дремлет с книгой.

А Азовкин всё так же мучился, как и вчера. Он, может быть, и совсем не спал. По подоконнику и тумбочке были разбросаны его вещи, постель вся сбита. Лоб и виски его пробивала испарина, по жёлтому лицу переходили все те искорчины болей, которые он ощущал внутри. То он становился на пол, локтями упирался в кровать и стоял так, согнутый. То брался обеими руками за живот и складывался в животе. Он уже много дней в комнате не отвечал на вопросы, ничего о себе не говорил. Речь он тратил только на выпрашивание лишних лекарств у сестёр и врачей. И когда приходили к нему на свидание домашние, он посылал их покупать ещё этих лекарств, какие видел здесь.

За окном был пасмурный, безветренный, безцветный день. Костоглотов, вернувшись с утреннего рентгена и не спросясь Павла Николаевича, отворил над собой форточку, и оттуда тянуло сыроватым, правда не холодным.

Опасаясь простудить опухоль, Павел Николаевич обмотал шею и отсел к стене. Какие-то тупые все, покорные, полубрѣвна! Кроме Азовкина, здесь, видимо, никто не страдает по-настоящему. Как сказал, кажется, Горький, только тот достоин свободы, кто за неё идёт на бой. Так – и выздоровления. Павел-то Николаевич уже предпринял утром решительные шаги. Едва открылась регистратура, он пошёл позвонил домой и сообщил жене ночное решение: через все каналы добиваться направления в Москву, а здесь не рисковать, себя не губить. Капа – пробивная, она уже действует. Конечно, это было малодушие: испугаться опухоли и лечь сюда. Ведь это только кому сказать – с трёх часов вчерашнего дня никто даже не пришёл пощупать – растёт ли его опухоль. Никто не дал лекарства. Повесили температурный листок для дураков. Не-ет, лечебные учреждения у нас ещё надо подтягивать и подтягивать.

Наконец появились врачи – но опять не вошли в комнату: остановились там, за дверью, и изрядно постояли около Сибгатова. Он открывал спину и показывал им. (Тем временем Костоглотов спрятал свою книгу под матрас.)

Но вот вошли и в палату – доктор Донцова, доктор Гангарт и осанистая седая сестра с блокнотом в руках и полотенцем на локте. Вход нескольких сразу белых халатов вызывает всегда прилив внимания, страха и надежды – и тем сильнее все три чувства, чем белее халаты и шапочки, чем строже лица. Тут строже и торжественней всех держалась сестра, Олимпиада Владиславовна: для неё обход был как для дьякона богослужение. Это была та сестра, для которой врачи – выше простых людей, которая знает, что врачи всё понимают, никогда не ошибаются, не дают неверных назначений. И всякое назначение она вписывает в свой блокнот с ощущением почти счастья, как молодые сёстры уже не делают.

Однако, и войдя в палату, врачи не поспешили к койке Русанова! Людмила Афанасьевна – крупная женщина с простыми крупными чертами лица, с уже пепелистыми, но стриженными и подвитыми волосами – сказала общее негромкое «здравствуйте» и у первой же койки, около Дёмы, остановилась, изучающе глядя на него.

– Что читаешь, Дёма?

(Не могла найти вопроса поумней! В служебное время!)

По привычке многих, Дёма не назвал, а вывернул и показал голубоватую поблекшую обложку журнала. Донцова сощурилась.

– Ой, старый какой, позапрошлого года. Зачем?

– Здесь – статья интересная, – значительно сказал Дёма.

– О чём же?

– Об искренности! – ещё выразительней ответил он. – О том, что литература без искренности...

Он спускал больную ногу на пол, но Людмила Афанасьевна быстро его предупредила:

– Не надо! Закати.

Он закатил штанину, она присела на его кровать и осторожно, издали, несколькими пальцами стала прощупывать ногу.

Вера Корнильевна, позади неё опершись о кроватную спинку и глядя ей через плечо, сказала негромко:

– Пятнадцать сеансов, три тысячи «эр».

– Здесь больно?

– Больно.

– А здесь?

– Ещё и дальше больно.

– А почему ж молчишь? Герой какой! Ты мне говори, откуда больно.

Она медленно выщупывала границы.

– А само болит? Ночью?

На чистом дёмином лице ещё не росло ни волоска. Но постоянно напряжённое выражение очень взрослило его.

– И день и ночь грызёт.

Людмила Афанасьевна переглянулась с Гангарт.

– Ну всё-таки, как ты замечаешь – за это время стало сильнее грызть или слабей?

– Не знаю. Может, немного полегче. А может – кажется.

– Кровь, – попросила Людмила Афанасьевна, и Гангарт уже протягивала ей историю болезни. Людмила Афанасьевна почитала, посмотрела на мальчика.

– Appetit есть?

– Я всю жизнь ем с удовольствием, – ответил Дёма с важностью.

– Он стал у нас получать дополнительное, – голосом няни, нараспев, ласково вставила Вера Корнильевна и улыбнулась Дёме. И он ей. – Трансфузия? – тут же тихо, отрывисто спросила Гангарт у Донцовой, беря назад историю болезни.

– Да. Так что ж, Дёма? – Людмила Афанасьевна изучающе смотрела на него опять. – Рентген продолжим?

– Конечно продолжим! – осветился мальчик.

И благодарно смотрел на неё.

Он так понимал, что это – вместо операции. И ему казалось, что Донцова тоже так понимает. (А Донцова-то понимала, что, прежде чем оперировать саркому кости, надо подавить её активность рентгеном и тем предотвратить метастазы.)

Егенбердиев уже давно приготовился, насторожился и, как только Людмила Афанасьевна встала с соседней койки, поднялся в рост в проходе, выпятил грудь и стоял по-солдатски.

Донцова улыбнулась ему, приблизилась к его губе и рассматривала струп. Гангарт тихо читала ей цифры.

– Ну! Очень хорошо! – громче, чем надо, как всегда говорят с иноязычными, ободряла Людмила Афанасьевна. – Всё идёт хорошо, Егенбердиев! Скоро домой пойдёшь!

Ахмаджан, уже зная свои обязанности, перевёл по-узбекски (они с Егенбердиевым понимали друг друга, хотя каждому язык другого казался искажённым).

Егенбердиев с надеждой, с доверием и даже восторженно уставился в Людмилу Афанасьевну, – с тем восторгом, с которым эти простые души относятся к подлинно образованным и подлинно полезным людям. Но всё же провёл рукой около своего струпа и спросил.

– А стало – больше? раздулось? – перевёл Ахмаджан.

– Это всё отвалится! Так быть должно! – усиленно громко вговаривала ему Донцова. – Всё отвалится! Отдохнёшь три месяца дома – и опять к нам!

Она перешла к старику Мурсалимову. Он уже сидел, спустив ноги, и сделал попытку встать навстречу ей, но она удержала его и села рядом. С той же верой в её всемогущество смотрел на неё и этот высохший бронзовый старик. Она через Ахмаджана спрашивала его о кашле и велела закатить рубашку, подавливала грудь, где ему больно, и выстукивала рукою через другую руку, тут же слушала Веру Корнильевну о числе сеансов, крови, уколах и молча сама смотрела в историю болезни. Когда-то было всё нужное, всё на месте в здоровом теле, а сейчас всё было лишнее и выпирало – какие-то узлы, углы...

Донцова назначила ему ещё другие уколы и попросила показать из тумбочки таблетки, какие он пьёт.

Мурсалимов вынул пустой флакон из-под поливитаминов. «Когда купил?» – спрашивала Донцова. Ахмаджан перевёл: третьего дня. «А где же таблетки?» – Выпил.

– Как выпил?? – изумилась Донцова. – Сразу все?

– Нет, за два раза, – перевёл Ахмаджан.

Расхохотались врачи, сестра, русские больные, Ахмаджан, и сам Мурсалимов приоткрыл зубы, ещё не понимая.

И только Павла Николаевича их бессмысленный, несвоевременный смех наполнял негодованием. Ну, сейчас он их отрезвит! Он выбирал позу, как лучше встретить врачей, и решил, что полулёжа больше подчеркнёт.

– Ничего, ничего! – ободрила Донцова Мурсалимова. И, назначив ему ещё витамин «С», обтерев руки о полотенце, истово подставленное сестрой, с озабоченностью повернулась перейти к следующей койке. Теперь, обращённая к окну и близко к нему, она сама выказывала нездоровый сероватый цвет лица и глубокоусталое, едва ли не больное выражение.

Лысый, в тубетейке и в очках, строго сидящий в постели, Павел Николаевич почему-то напоминал учителя, да не какого-нибудь, а заслуженного, вырастившего сотни учеников. Он дождался, когда Людмила Афанасьевна подошла к его кровати, поправил очки и объявил:

– Так, товарищ Донцова. Я вынужден буду говорить в минздраве о порядках в этой клинике. И звонить товарищу Остапенко.

Она не вздрогнула, не побледнела, может быть землистее стал цвет её лица. Она сделала странное одновременное движение плечами – круговое, будто плечи устали от лямок и нельзя было дать им свободу.

– Если вы имеете лёгкий доступ в минздрав, – сразу согласилась она, – и даже можете звонить товарищу Остапенко, я добавлю вам материала, хотите?

– Да уж добавлять некуда! Такое равнодушие, как у вас, ни в какие ворота не лезет! Я восемнадцать часов здесь! – а меня никто не лечит! А между тем я...

(Не мог он ей больше высказать! Сама должна была понимать!)

Все в комнате молчали и смотрели на Русанова. Кто принял удар, так это не Донцова, а Гангарт – она сжала губы в ниточку и схмурилась, и лоб стянула, как будто непоправимое видела и не могла остановить.

А Донцова, нависая над сидящим Русановым, крупная, не дала себе воли даже нахмуриться, только плечами ещё раз кругоподобно провела и сказала уступчиво, тихо:

– Вот я пришла вас лечить.

– Нет, уж теперь поздно! – обрезал Павел Николаевич. – Я насмотрелся здешних порядков – и ухожу отсюда. Никто не интересуется, никто диагноза не ставит!

Его голос непредусмотренно дрогнул. Потому что действительно было обидно.

– Диагноз вам поставлен, – размеренно сказала Донцова, обеими руками держась за спинку его кровати. – И вам некуда идти больше, с этой болезнью в нашей республике вас нигде больше не возьмутся лечить.

– Но ведь вы сказали – у меня не рак?!.. Тогда объявите диагноз!

– Вообще мы не обязаны называть больным их болезнь. Но, если это облегчит ваше состояние, извольте: лимфогранулематоз.

– Так, значит, не рак!!

– Конечно, нет. – Даже естественного озлобления от спора не было в её лице и голосе. Ведь она видела его опухоль в кулак под челюстью. На кого ж было сердиться? – на опухоль? – Вас никто не неволил ложиться к нам. Вы можете выписаться хоть сейчас. Но помните... – Она поколебалась. Она примирительно предупредила его: – Умирают ведь не только от рака.

– Вы что – запугать меня хотите?! – вскрикнул Павел Николаевич. – Зачем вы меня пугаете? Это не методически! – ещё бойко резал он, но при слове «умирают» всё охолодело у него внутри. Уже мягче он спросил: – Вы что, хотите сказать, что со мной так опасно?

– Если вы будете переезжать из клиники в клинику – конечно. Снимите-ка шарфик. Встаньте, пожалуйста.

Он снял шарфик и стал на пол. Донцова начала бережно ощупывать его опухоль, потом и здоровую половину шеи, сравнивая. Попросила его сколько можно запрокинуть голову назад (не так-то далеко она и запрокинулась, сразу потянула опухоль), сколько можно наклонить вперёд, повернуть налево и направо.

Вот оно как! – голова его, оказывается, уже почти не имела свободы движения – той лёгкой изумительной свободы, которую мы не замечаем, обладая ею.

– Куртку снимите, пожалуйста.

Куртка его зелёно-коричневой пижамы расстёгивалась крупными пуговицами и не была тесна, и кажется бы, нетрудно было её снять, но при вытягивании рук отдалось в шее, и Павел Николаевич простонал. О, как далеко зашло дело!

Седая осанистая сестра помогла ему выпутаться из рукавов.

– Под мышками вам не больно? – спрашивала Донцова. – Ничто не мешает?

– А что, и там может заболеть? – Голос Русанова совсем упал и был ещё тише теперь, чем у Людмилы Афанасьевны.

– Поднимите руки в стороны! – И сосредоточенно, остро давя, щупала у него под мышками.

– А в чём будет лечение? – спросил Павел Николаевич.

– Я вам говорила: в уколах.

- Куда? Прямо в опухоль?

- Нет, внутривенно.

- И часто?

- Три раза в неделю. Одевайтесь.

- А операция - невозможна?

(Он спрашивал - «невозможна?» - но больше всего боялся именно лечь на стол. Как всякий больной, он предпочитал любое другое долгое лечение.)

- Операция бессмысленна. - Она вытирала руки о подставленное полотенце.

И хорошо, что бессмысленна! Павел Николаевич соображал. Всё-таки надо посоветоваться с Капой. Обходные хлопоты тоже не просты. Влияния-то нет у него такого, как хотелось бы, как он здесь держался. И позвонить товарищу Остапенко совсем не было просто.

- Ну хорошо, я подумаю. Тогда завтра решим?

- Нет, - неумолимо приговорила Донцова. - Только сегодня. Завтра мы укола делать не можем, завтра суббота.

Опять правила! Как будто не для того пишутся правила, чтоб их ломать!

- Почему это вдруг в субботу нельзя?

- А потому что за вашей реакцией надо хорошо следить - в день укола и в следующий. А в воскресенье это невозможно.

- Так что, такой серьёзный укол?..

Людмила Афанасьевна не отвечала. Она уже перешла к Костоготову.

- Ну а если до понедельника?..

- Товарищ Русанов! Вы упрекнули, что восемнадцать часов вас не лечат. Как же вы соглашаетесь на семьдесят два? - (Она уже победила, уже давила его колёсами, и он ничего не мог!..) - Мы или берём вас на лечение или не берём. Если да, то сегодня в одиннадцать часов дня вы получите первый укол. Если нет - вы распишетесь, что отказываетесь от нашего лечения, и сегодня же я вас выпишу. А три дня ждать в бездействии мы не имеем права. Пока я кончу обход в этой комнате - продумайте и скажите.

Русанов закрыл лицо руками.

Гангарт, глухо затянутая халатом почти под горло, беззвучно миновала его. И Олимпиада Владиславовна проплыла мимо, как корабль.

Донцова устала от спора и надеялась у следующей кровати порадоваться. И она и Гангарт уже заранее чуть улыбались.

- Ну, Костоготов, а что скажете вы?

Костоготов, немного пригладивший вихры, ответил громко, уверенно, голосом здорового человека:

- Великолепно, Людмила Афанасьевна! Лучше не надо!

Врачи переглянулись. У Веры Корнильевны губы лишь чуть улыбались, а зато глаза - просто смеялись от радости.

- Ну всё-таки, - Донцова присела на его кровать. - Опишите словами - что вы чувствуете? Что за это время изменилось?

- Пожалуйста! - охотно взялся Костоготов. - Боли у меня ослабились после второго сеанса, совсем исчезли после четвёртого. Тогда же упала и температура. Сплю я сейчас великолепно, по десять часов, в любом положении, - и не болит. А раньше я такого положения найти не мог. На еду я смотреть не хотел, а сейчас всё подбираю и ещё добавки прошу. И не болит.

- И не болит? - рассмеялась Гангарт.

- А - дают? - смеялась Донцова.

- Иногда. Да вообще о чём говорить? - у меня просто изменилось мироощущение. Я приехал вполне мертвец, а сейчас я живой.

- И тошноты не бывает?

- Нет.

Донцова и Гангарт смотрели на Костоглотову и сияли - так, как смотрит учитель на выдающегося отличника: больше гордясь его великолепным ответом, чем собственными знаниями и опытом. Такой ученик вызывает к себе привязанность.

- А опухоль ощущаете?

- Она мне уже теперь не мешает.

- Но ощущаете?

- Ну, когда вот ложусь - чувствую лишнюю тяжесть, вроде бы даже перекачивается. Но не мешает! - настаивал Костоглотов.

- Ну, лягте.

Костоглотов привычным движением (его опухоль за последний месяц щупали в разных больницах многие врачи и даже практиканты, и звали из соседних кабинетов щупать, и все удивлялись) поднял ноги на койку, подтянул колени, лёг без подушки на спину и обнажил живот. Он сразу почувствовал, как эта внутренняя жаба, спутница его жизни, прилегла там где-то глубоко и подавливала.

Людмила Афанасьевна сидела рядом и мягкими круговыми приближениями подбиралась к опухоли.

– Не напрягайтесь, не напрягайтесь, – напоминала она, хотя и сам он знал, но непроизвольно напряглся в защиту и мешал щупать. Наконец, добившись мягкого доверчивого живота, она ясно ощутила в глубине, за желудком, край его опухоли и пошла по всему контуру сперва мягко, второй раз жёстче, третий – ещё жёстче.

Гангарт смотрела через её плечо. И Костоглотов смотрел на Гангарт. Она очень располагала. Она хотела быть строгой – и не могла: быстро привыкала к больным. Она хотела быть взрослой – и тоже не получалось: что-то было в ней девчёнчье.

– Отчётливо пальпируется по-прежнему, – установила Людмила Афанасьевна. – Стала плосче, это безусловно. Отошла вглубь, освободила желудок, и вот ему не больно. Помягчала. Но контур – почти тот же. Вы посмотрите?

– Да нет, я каждый день, надо с перерывами. РОЭ – двадцать пять, лейкоцитов – пять восемьсот, сегментных... Ну, посмотрите сами...

Русанов поднял голову из рук и шёпотом спросил у сестры:

– А – уколы? Очень болезненно?

Костоглотов тоже дознавался:

– Людмила Афанасьевна! А сколько мне ещё сеансов?

– Этого сейчас нельзя посчитать.

– Ну, всё-таки. Когда примерно вы меня выпишете?

– Что??? – Она подняла голову от истории болезни. – О чём вы меня спросили??

– Когда вы меня выпишете? – так же уверенно повторил Костоглотов. Он обнял колени руками и имел независимый вид.

Никакого любования отличником не осталось во взгляде Донцовой. Был трудный пациент с закоренело-упрямым выражением лица.

– Я вас только начинаю лечить! – осадила она его. – Начинаю с завтрашнего дня. А это всё была лёгкая пристрелка.

Но Костоготов не пригнулся.

– Людмила Афанасьевна, я хотел бы немного объясниться. Я понимаю, что я ещё не излечен, но я не претендую на полное излечение.

Ну, выдались больные! – один лучше другого. Людмила Афанасьевна насупилась, вот когда она сердилась:

– Что вообще вы говорите? Вы – нормальный человек или нет?

– Людмила Афанасьевна, – спокойно отвёл Костоготов большой рукой, – дискуссия о нормальности и ненормальности современного человека завела бы нас очень далеко... Я сердечно вам благодарен, что вы меня привели в такое приятное состояние. Теперь я хочу в нём немножечко пожить. А что будет от дальнейшего лечения – я не знаю. – По мере того как он это говорил, у Людмилы Афанасьевны выворачивалась в нетерпении и возмущении нижняя губа. У Гангарт задёрнулись брови, глаза её переходили с одного на другую, ей хотелось вмешаться и смягчить. Олимпиада Владиславовна смотрела на бунтаря надменно. – Одним словом, я не хотел бы платить слишком большую цену сейчас за надежду пожить когда-нибудь. Я хочу положиться на защитные силы организма...

– Вы со своими защитными силами организма к нам в клинику на четвереньках приползли! – резко отповедала Донцова и поднялась с его кровати. – Вы даже не понимаете, чем вы играете! Я с вами и разговаривать не буду!

Она взмахнула рукой по-мужски и отвернулась к Азовкину, но Костоготов с подтянутыми по одеялу коленями смотрел непримиримо, как чёрный пёс:

– А я, Людмила Афанасьевна, прошу вас поговорить! Вас, может быть, интересует эксперимент, чем это кончится, а мне хочется пожить покойно. Хоть годик. Вот и всё.

– Хорошо, – бросила Донцова через плечо. – Вас вызовут.

Раздосадованная, она смотрела на Азовкина, ещё никак не переключаясь на новый голос и новое лицо.

Азовкин не вставал. Он сидел, держась за живот. Он поднял только голову навстречу врачам. Его губы не были сведены в один рот, а каждая губа выражала своё отдельное страдание. В его глазах не было никакого чувства, кроме мольбы – мольбы к глухим о помощи.

– Ну что, Коля? Ну как? – Людмила Афанасьевна обняла его с плеча на плечо.

– Пло-хо, – ответил он очень тихо, одним ртом, стараясь не выталкивать грудью воздух, потому что всякий толчок лёгкими сразу же отдавался к животу на опухоль.

Полгода назад он шёл с лопатой через плечо во главе комсомольского воскресника и пел во всю глотку – а сейчас даже о боли своей не мог рассказать громче шёпота.

– Ну, давай, Коля, вместе подумаем, – так же тихо говорила Донцова. – Может быть, ты устал от лечения? Может быть, тебе больничная обстановка надоела? Надоела?

– Да...

– Ты ведь здешний. Может, дома отдохнёшь? Хочешь?.. Выпишем тебя на месяц, на полтора?

– А потом... примете?..

– Ну конечно примем. Ты ж теперь наш. Отдохнёшь от уколов. Вместо этого купишь в аптеке лекарство и будешь класть под язык три раза в день.

– Синэстрол?..

– Да.

Донцова и Гангарт не знали: все эти месяцы Азовкин фанатично вымаливал у каждой заступающей сестры, у каждого ночного дежурного врача лишнее снотворное, лишнее болеутоляющее, всякий лишний порошок и таблетку, кроме тех, которыми его кормили и кололи по назначению. Этим запасом лекарств, набитой матерчатой сумочкой, Азовкин готовил себе спасение вот на этот день, когда врачи откажутся от него.

– Отдохнуть тебе надо, Коленька... Отдохнуть...

Было очень тихо в палате, и тем слышней, как Русанов вздохнул, выдвинул голову из рук и объявил:

– Я уступаю, доктор. Колите!

5

Как это называется? – расстроена? угнетена? – какой-то невидимый, но плотный тяжёлый туман входит в грудь, а всё наше облегает и сдавливает к середине. И мы чувствуем только это сжатие, эту муть, не сразу даже понимаем, что именно нас так утеснило.

Вот это чувствовала Вера Корнильевна, кончая обход и спускаясь вместе с Донцовой по лестнице. Ей было очень нехорошо.

В таких случаях помогает вслушаться и разобраться: отчего это всё? И выставить что-то в заслон.

Вот что было: была боязнь за маму – так звали между собой Людмилу Афанасьевну три её ординатора-лучевика. Мамой она приходилась им и по возрасту – им всем близ тридцати, а ей под пятьдесят; и по тому особенному рвению, с которым натаскивала их на работу: она сама была старательна до въедливости и хотела, чтоб ту же старательность и въедливость усвоили все три «дочери»; она была из последних, ещё охватывающих и рентгенодиагностику и рентгенотерапию, и, вопреки направлению времени и дроблению знаний, добивалась, чтоб её ординаторы тоже удержали обе. Не было секрета, который

она таила бы для себя и не поделилась. И когда Вера Гангарт то в одном, то в другом оказывалась живей и острее её, то «мама» только радовалась. Вера работала у неё уже восемь лет, от самого института, – и вся сила, которую она в себе теперь чувствовала, сила вытягивать умоляющих людей из запахнувшей их смерти, – вся произошла от Людмилы Афанасьевны.

Этот Русанов мог причинить «маме» тягучие неприятности. Мудрено голову приставить, а срубить не мудрено.

Да если бы только один Русанов! Это мог сделать любой больной с ожесточённым сердцем. Ведь всякая травля, однажды кликнутая, – она не лежит, она бежит. Это – не след по воде, это борозда по памяти. Можно её потом заглаживать, песочком засыпать, – но крикни опять кто-нибудь хоть спяну: «бей врачей!» или «бей инженеров!» – и палки уже при руках.

Клочки подозрений остались там и сям, проносятся. Совсем недавно лежал в их клинике по поводу опухоли желудка шофёр МГБ. Он был хирургический, Вера Корнильевна не имела к нему никакого отношения, но как-то дежурила ночью и делала вечерний обход. Он жаловался на плохой сон. Она назначила ему бромурал, но, узнав от сестры, что мелка расфасовка, сказала: «Дайте ему два порошка сразу!» Больной взял, Вера Корнильевна даже не заметила особенного его взгляда. И так бы не узналось, но лаборантка их клиники была этому шофёру соседка по квартире и навещала его в палате. Она прибежала к Вере Корнильевне взволнованная: шофёр не выпил порошков (почему два сразу?), он не спал ночь, а теперь выспрашивал лаборантку: «Почему её фамилия Гангарт? Расскажи о ней поподробней. Она отравить меня хотела. Надо ею заняться».

И несколько недель Вера Корнильевна ждала, что ею займутся. И все эти недели она должна была неуклонно, безошибочно и даже со вдохновением ставить диагнозы, безупречно отмерять дозы лечения и взглядом и улыбкой подбодрять больных, попавших в этот пресловутый раковый круг, и от каждого ожидать взгляда: «А ты не отравительница?»

Вот ещё что сегодня было особенно тяжело на обходе: что Костоглотов, один из самых успешливых больных и к которому Вера Корнильевна была особенно почему-то добра, – Костоглотов именно так и спросил «маму», подозревая какой-то злой эксперимент над собой.

Шла удручённая с обхода и Людмила Афанасьевна и тоже вспоминала неприятный случай – с Полиной Заводчиковой, скандальнейшей бабой. Не сама она была больна, но сын её, а она лежала с ним в клинике. Ему вырезали внутреннюю опухоль – и она напала в коридоре на хирурга, требуя выдать ей кусочек опухоли сына. И не будь это Лев Леонидович, пожалуй бы и получила. А дальше у неё была идея – отнести этот кусочек в другую клинику, там проверить диагноз, и если не сойдётся с первоначальным диагнозом Донцовой, то вымогать деньги или в суд подавать.

Не один такой случай был на памяти у каждой из них.

Теперь, после обхода, они шли договорить друг с другом то, чего нельзя было при больных, и принять решения.

С помещениями было скудно в Тринадцатом корпусе, и не находилось комнатки для врачей лучевого отделения. Они не помещались ни в операторской «гамма-пушки», ни в операторской длиннофокусных рентгеновских установок на сто двадцать и двести тысяч вольт. Было место в рентгенодиагностическом, но там постоянно темно. И поэтому свой стол, где они разбирались с текущими делами, писали истории болезни и другие бумаги, они держали в лечебном кабинете короткофокусных рентгеновских установок – как будто мало им было за годы и годы их работы тошнотного рентгеновского воздуха с его особенным запахом и разогревом.

Они пришли и сели рядом за большой этот стол без ящичков, грубо остроганный. Вера Корнильевна переключала карточки стационара – женские и мужские, разделяя, какие она сама обрабатывает, а о каких надо решить вместе. Людмила Афанасьевна угрюмо смотрела перед собой в стол, чуть выкатив нижнюю губу и постукивая карандашиком.

Вера Корнильевна с участием взглядывала на неё, но не решалась сказать ни о Русанове, ни о Костоглодове, ни об общей врачебной судьбе – потому что понятное повторять ни к чему, а высказаться можно недостаточно тонко, недостаточно осторожно и только задеть, не утешить.

А Людмила Афанасьевна сказала:

– Как же это бесит, что мы бессильны, а?! – (Это могло быть о многих, осмотренных сегодня.) Ещё постучала карандашиком. – Но ведь нигде ошибки не было. – (Это могло быть об Азовкине, о Мурсалимове.) – Мы когда-то шатнулись в диагнозе, но лечили верно. И меньшей дозы мы дать не могли тоже. Нас погубила бочка.

Вот как! – она думала о Сибгатове! Бывают же такие неблагоприятные болезни, что тратишь на них утроенную изобретательность, а спасти больного нет сил. Когда Сибгатова впервые принесли на носилках, рентгенограмма показала полное разрушение почти всего крестца. Шатание было в том, что даже с консультацией профессора признали саркому кости, и лишь потом постепенно выявили, что это была гигантоклеточная опухоль, когда в кости появляется жижка и вся кость заменяется желеподобной тканью. Однако лечение совпадало.

Крестец нельзя отнять, нельзя выпилить – это камень, положенный во главу угла. Оставалось – рентгенооблучение, и обязательно сразу большими дозами – меньшие не могли помочь. И Сибгатов выздоровел! – крестец укрепился. Он выздоровел, но от бычьих доз рентгена все окружающие ткани стали непомерно чувствительны и расположены к образованию новых злокачественных опухолей. И так от ушиба у него вспыхнула трофическая язва. И сейчас, когда уже кровь его и ткани его отказывались принять рентген, – сейчас бушевала новая опухоль, и нечем было её сбить, её только держали.

Для врача это было сознание бессилия, несовершенства методов, а для сердца – жалость, самая обыкновенная жалость: вот есть такой кроткий, вежливый, печальный татарин Сибгатов, так способный к благодарности, но всё, что можно для него сделать, это – продлить его страдания.

Сегодня утром Низамутдин Бахрамович вызывал Донцову по специальному этому поводу: ускорить оборачиваемость коек, а для того во всех неопределённых случаях, когда не обещается решительное улучшение, больных выписывать. И Донцова была согласна с этим: ведь в приёмном вестибюле у них постоянно сидели ожидающие, даже по несколько суток, а из районных онкопунктов шли просьбы разрешить прислать больного. Она была согласна в принципе, и никто, как Сибгатов, так ясно не подпадал под этот принцип, – а вот выписать его она не могла. Слишком долгая изнурительная борьба велась за этот один человеческий крестец, чтоб уступить теперь простому разумному рассуждению, чтоб отказаться даже от простого повторения ходов с ничтожной надеждой, что ошибётся всё-таки смерть, а не врач. Из-за Сибгатова у Донцовой

даже изменилось направление научных интересов: она углубилась в патологию костей из одного порыва – спасти Сибгатова. Может быть, в приёмной сидели больные с неменьшей нуждой – а вот она не могла отпустить Сибгатова и будет хитрить перед главврачом, сколько сможет.

И ещё настаивал Низамутдин Бахрамович не задерживать обречённых. Смерть их должна происходить по возможности вне клиники – это тоже увеличит оборачиваемость коек, и меньше угнетения будет оставшимся, и улучшится статистика, потому что они будут выписаны не по причине смерти, а лишь «с ухудшением».

По этому разряду и выписывался сегодня Азовкин. Его история болезни, за месяцы превратившаяся уже в толстую тетрадочку из коричневатых склеенных листиков с грубой выделкой, со встрявшими белесоватыми кусочками древесины, задирающими перо, содержала много фиолетовых и синих цифр и строчек. И оба врача видели сквозь эту подклеенную тетрадочку вспотевшего от страданий городского мальчика, как он сиживал на койке, сложенный в погибель, но читаемые тихим мягким голосом цифры были неумолиме раскатов трибунала, и обжаловать их не мог никто. Тут было двадцать шесть тысяч «эр» облучения, из них двенадцать тысяч в последнюю серию, пятьдесят инъекций синэстрола, семь трансфузий крови – и всё равно лейкоцитов только три тысячи четыреста, эритроцитов... Метастазы рвали оборону, как танки, они уже твердели в средостении, появились в лёгких, уже воспаляли узлы над ключицами, но организм не давал помощи, чем их остановить.

Врачи переглядывали и дописывали отложенные карточки, а сестра-рентгенолаборант тут же продолжала процедуры для амбулаторных. Вот она ввела четырёхлетнюю девочку в синем платице, с матерью. У девочки на лице были красные сосудистые опухолёчки, они ещё были малы, они ещё не были злокачественны, но принято было облучать их, чтоб они не росли и не переродились. Сама же девочка мало заботилась, не знала о том, что, может быть, на крохотной губке своей несла уже тяжёлую гирю смерти. Она не первый раз была здесь, уже не боялась, щебетала, тянулась к никелированным деталям аппаратов и радовалась блестящему миру. Весь сеанс ей был три минуты, но эти три минуты она никак не хотела посидеть неподвижно под точно направленной на больное место узкой трубкой. Она тут же изворачивалась, отклонялась, и рентгенотехник, нервничая, выключала и снова и снова наводила на неё трубку. Мать держала игрушку, привлекая внимание девочки, и обещала ей ещё другие подарки, если будет сидеть спокойно. Потом вошла мрачная старуха и долго

разматывала платок и снимала кофту. Потом пришла из стационара женщина в сером халате с шариком цветной опухоли на ступне – просто наколола гвоздём в туфле – и весело разговаривала с сестрой, никак не предполагая, что этот сантиметровой пустячный шарик, который ей не хотят почему-то отрезать, есть королева злокачественных опухолей – меланобластома.

Врачи невольно отвлекались и на этих больных, осматривая их и давая советы сестре, так уже перешло время, когда надо было Вере Корнильевне идти делать эмбихинный укол Русанову, – и тут она положила перед Людмилой Афанасьевной последнюю, нарочно ею так задержанную карточку Костоглотова.

– При таком запущенном исходном состоянии – такое блистательное начало, – сказала она. – Только очень уж упрямый. Как бы он правда не отказался.

– Да попробует он только! – пристукнула Людмила Афанасьевна. Болезнь Костоглотова была та самая, что у Азовкина, но так обнадёжливо поворачивалось лечение, и ещё б он смел отказаться!

– У вас – да, – согласилась сразу Гангарт. – А я не уверена, что его переупрямлю. Может, прислать его к вам? – Она счищала с ногтя какую-то прилепившуюся соринку. – У меня с ним сложились довольно трудные отношения... Не удаётся категорично с ним говорить. Не знаю почему.

Их трудные отношения начались ещё с первого знакомства.

Был ненастный январский день, лил дождь. Гангарт заступила на ночь дежурным врачом по клинике. Часов около девяти вечера к ней вошла толстая здоровая санитарка первого этажа и пожаловалась:

– Доктор, там больной один безобразит. Я сама не отобьюсь. Что ж это, если меры не принимать, так нам на голову сядут.

Вера Корнильевна вышла и увидела, что прямо на полу около запертой каморки старшей сестры, близ большой лестницы, вытянулся долговязый мужчина в сапогах, изрыжевшей солдатской шинели, а в ушанке – гражданской, тесной ему, однако тоже натянутой на голову. Под голову он подмостил вещмешок, и по

всему видно, что приготовился спать. Гангарт подошла к нему близко – тонконогая, на высоких каблукках (она никогда не одевалась небрежно), – посмотрела строго, желая пристыдить взглядом и заставить подняться, но он, хотя видел её, смотрел вполне равнодушно, не шевельнулся и даже, кажется, прикрыл глаза.

– Кто вы такой? – спросила она.

– Че-ло-век, – негромко, с безразличием ответил он.

– Вы имеете к нам направление?

– Да.

– Когда вы его получили?

– Сегодня.

По отпечаткам на полу под его боками видно было, что шинель его вся мокра, как, впрочем, и сапоги, и вещмешок.

– Но здесь нельзя. Мы... не разрешаем тут. Это и просто неудобно...

– У-добно, – вяло отозвался он. – Я – у себя на родине, кого мне стесняться?

Вера Корнильевна смешалась. Она почувствовала, что не может прикрикнуть на него, велеть ему встать, да он и не послушается.

Она оглянулась в сторону вестибюля, где днём всегда было полно посетителей и ожидающих, где на трёх садовых скамьях родственники виделись с больными, а по ночам, когда клиника запиралась, тут оставляли и тяжёлых приезжих, которым некуда было податься. Сейчас в вестибюле стояли только две скамьи, на одной из них уже лежала старуха, на второй молодая узбечка в цветастом платке положила ребёнка и сидела рядом.

В вестибюле-то можно было разрешить лечь на полу, но пол там нечистый, захоженный.

А сюда входили только в больничной одежде или в белых халатах.

Вера Корнильевна опять посмотрела на этого дикого больного с уже отходящим безразличием остро-исхудалого лица.

- И у вас никого нет в городе?

- Нет.

- А вы не пробовали - в гостиницы?

- Пробовал, - уже устал отвечать он.

- Здесь - пять гостиниц.

- И слушать не хотят, - он закрыл глаза, кончая аудиенцию.

- Если бы раньше! - соображала Гангарт. - Некоторые наши нянечки пускают к себе больных ночевать. Они недорого берут.

Он лежал с закрытыми глазами.

- Говорит: хоть неделю буду так лежать! - напала дежурная санитарка. - На дороге! Пока, мол, койку мне не предоставят! Ишь ты, озорник! Вставай, не балуй! Стерильно тут! - подступала санитарка.

- А почему только две скамейки? - удивлялась Гангарт. - Вроде ведь третья была.

- Ту, третью, вон перенесли, - показала санитарка через застеклённую дверь.

Верно, верно, за эту дверь, в коридор к аппаратным, перенесли одну скамейку для тех ожидающих больных, которые днём приходили принимать сеансы амбулаторно.

Вера Корнильевна велела санитарке отпереть тот коридор, а больному сказала:

– Я переложу вас удобнее, поднимитесь.

Он посмотрел на неё – не сразу доверчиво. Потом с мученьями и подёргиваньями боли стал подниматься. Видно, каждое движение и поворот туловища давались ему трудно. Поднимаясь, он не прихватил в руки вещмешка, а теперь ему было больно за ним наклониться.

Вера Корнильевна легко наклонилась, белыми пальцами взяла его промокший нечистый вещмешок и подала ему.

– Спасибо, – криво улыбнулся он. – До чего я дожил...

Влажное продолговатое пятно осталось на полу там, где он лежал.

– Вы были под дождём? – вглядывалась она в него со всё большим участием. – Там, в коридоре, тепло, снимите шинель. А вас не знобит? Температуры нет? – Лоб его весь был прикрыт этой нахлобученной чёрной дрянной шапчёнкой со свисающими меховыми ушами, и она приложила пальцы не ко лбу его, а к щеке.

И прикосновением можно было понять, что температура есть.

– Вы что-нибудь принимаете?

Он смотрел на неё уже как-то иначе, без этого крайнего отчуждения.

– Анальгин.

– Есть у вас?

– У-гм.

– А снотворное принести?

– Если можно.

- Да! - спохватилась она. - Направление-то ваше покажите!

Он не то усмехнулся, не то губы его двигались просто велениями боли.

- А без бумажки - под дождь?

Расстегнул верхние крючки шинели и из кармана открывшейся гимнастёрки вытащил ей направление, действительно выписанное в этот день утром в амбулатории. Она прочла и увидела, что это - её больной, лучевой. С направлением в руке она повернула за снотворным:

- Я сейчас принесу. Идите ложитесь.

- Подождите, подождите! - оживился он. - Бумажечку верните! Знаем мы эти приёмчики!

- Но чего вы можете бояться? - Она обернулась обиженная. - Неужели вы мне не верите?

Он посмотрел в колебании. Буркнул:

- А почему я должен вам верить? Мы с вами из одной миски щей не хлебали...

И пошёл ложиться.

Она рассердилась и сама уже к нему не вернулась, а через санитарку послала снотворное и направление, на котором сверху написала «cito», подчеркнула и поставила восклицательный знак.

Лишь ночью она прошла мимо него. Он спал. Скамья была удобна для этого, не свалишься: изгибистая спинка переходила в изгибистое же сидение полужёлобом. Мокрую шинель он снял, но всё равно ею же и накрылся: одну полу тянул на ноги, другую на плечи. Ступни сапог свешивались с краю скамьи. На подмётках сапог места живого не было - косячками чёрной и красной кожи латали их. На носках были металлические набойки, на каблуках подковки.

Утром Вера Корнильевна ещё сказала старшей сестре, и та положила его на верхней лестничной площадке.

Правда, с того первого дня Костоглотов ей больше не дерзил. Он вежливо разговаривал с ней обычным городским языком, первый здоровался и даже доброжелательно улыбался. Но всегда было ощущение, что он может выкинуть что-нибудь странное.

И действительно, позавчера, когда она вызвала его определить группу крови и приготовила пустой шприц взять у него из вены, он спустил откаченный уже рукав и твёрдо сказал:

– Вера Корнильевна, я очень сожалею, но найдите способ обойтись без этой пробы.

– Да почему ж, Костоглотов?

– Из меня уже попили кровушки, не хочу. Пусть даёт в ком крови много.

– Но как вам не стыдно? Мужчина! – взглянула она с той природной женской насмешкой, которой мужчине перенести невозможно.

– А потом что?

– Будет случай – перельём вам крови.

– Мне? Переливать? Избавьте! Зачем мне чужая кровь? Чужой не хочу, своей ни капли не дам. Группу крови запишите, я по фронту знаю.

Как она его ни уговаривала – он не уступал, находя новые неожиданные соображения. Он уверен был, что это всё лишнее. Наконец она просто обиделась:

– Вы ставите меня в какое-то глупое, смешное положение. Я последний раз – прошу вас.

Конечно, это была ошибка и унижение с её стороны – о чём, собственно, просить?

Но он сразу оголил руку и протянул:

– Лично для вас – возьмите хоть три кубика, пожалуйста.

Из-за того, что она терялась с ним, однажды произошла нескладность. Костоглотов сказал:

– А вы не похожи на немку. У вас, наверно, фамилия по мужу?

– Да, – вырвалось у неё.

Почему она так ответила? В то мгновение показалось обидным сказать иначе.

Он больше ничего не спросил.

А Гангарт – её фамилия по отцу, по деду. Они обрусевшие немцы.

А как надо было сказать? – я не замужем? я замужем никогда не была?

Невозможно.

6

Прежде всего Людмила Афанасьевна повела Костоглотова в аппаратную, откуда только что вышла больная после сеанса. С восьми утра почти непрерывно работала здесь большая стовосьмидесятитысячевольтная рентгеновская трубка, свисающая со штатива на подвесах, а форточка была закрыта, и весь воздух был наполнен чуть сладковатым, чуть противным рентгеновским теплом.

Этот разогрев, как ощущали его лёгкие (а был он не просто разогрев), становился противен больным после полудюжины, после десятка сеансов,

Людмила же Афанасьевна привыкла к нему. За двадцать лет работы здесь, когда трубки и совсем никакой защиты не имели (она попадала и под провод высокого напряжения, едва убита не была), Донцова каждый день дышала воздухом рентгеновских кабинетов и больше часов, чем допустимо, сидела на диагностике. И, несмотря на все экраны и перчатки, она получила на себя, наверно, больше «эр», чем самые терпеливые и тяжёлые больные, только никто этих «эр» не подсчитывал, не складывал.

Она спешила – но не только чтоб выйти скорей, а нельзя было лишних минут задерживать рентгеновскую установку. Показала Костоглотову лечь на твёрдый топчан под трубку и открыть живот. Какой-то щекочущей прохладной кисточкой водила ему по коже, что-то очерчивая и как будто выписывая цифры.

И тут же сестре-рентгентехнику объяснила схему квадрантов и как подводить трубку на каждый квадрант. Потом велела ему перевернуться на живот и мазала ещё на спине. Объявила:

– После сеанса – зайдёте ко мне.

И ушла. А сестра опять велела ему животом вверх и обложила первый квадрант простынями, потом стала носить тяжёлые коврики из просвинцованной резины и закрывать ими все смежные места, которые не должны были сейчас получить прямого удара рентгена. Гибкие коврики приятно-тяжело облегли тело.

Ушла и сестра, затворила дверь и видела его теперь только через окошечко в толстой стене. Раздалось тихое гудение, засветились вспомогательные лампы, раскалилась главная трубка.

И через оставленную клетку кожи живота, а потом через прослойки и органы, которым названия не знал сам обладатель, через туловище жабы-опухоли, через желудок или кишки, через кровь, идущую по артериям и венам, через лимфу, через клетки, через позвоночник и малые кости, и ещё через прослойки, сосуды и кожу там, на спине, потом через настил топчана, четырёхсантиметровые доски пола, через лаги, через засыпку и дальше, дальше, уходя в самый каменный фундамент или в землю, – полились жёсткие рентгеновские лучи, непредставимые человеческому уму вздрагивающие векторы электрического и магнитного полей, или более понятные снаряды-кванты, разрывающие и решетящие всё, что попадалось им на пути.

И этот варварский расстрел крупными квантами, происходивший беззвучно и неощутимо для расстреливаемых тканей, за двенадцать сеансов вернул Костоглотову намерение жить, и вкус жизни, и аппетит, и даже весёлое настроение. Со второго и третьего прострела освободясь от болей, делавших ему невыносимым существование, он потянулся узнать и понять, как же эти пронизывающие снарядики могут бомбить опухоль и не трогать остального тела. Костоглотов не мог вполне поддаться лечению, пока для себя не понял его идеи и не поверил в неё.

И он постарался выведать идею рентгенотерапии от Веры Корнильевны, этой милой женщины, обезоружившей его предвзятость и настороженность с первой встречи под лестницей, когда он решил, что пусть хоть пожарниками и милицией его вытаскивают, а доброй волей он не уйдёт.

– Вы не бойтесь, объясните, – успокаивал её. – Я как тот сознательный боец, который должен понимать боевую задачу, иначе он не воюет. Как это может быть, чтобы рентген разрушал опухоль, а остальных тканей не трогал?

Все чувства Веры Корнильевны ещё прежде глаз выражались в её отзывчивых лёгких губах. И колебание выразилось в них же.

(Что она могла ему рассказать об этой слепой артиллерии, с тем же удовольствием лупцующей по своим, как и по чужим?)

– Ох, не полагается... Ну, хорошо. Рентген, конечно, разрушает всё подряд. Только нормальные ткани быстро восстанавливаются, а опухолевые нет.

Правду ли, неправду ли сказала, но Костоглотову это понравилось.

– О! На таких условиях я играю. Спасибо. Теперь буду выздоравливать!

И, действительно, выздоравливал. Охотно ложился под рентген и во время сеанса ещё особо внушал клеткам опухоли, что они – разрушаются, что им – хана.

А то и вовсе думал под рентгеном о чём попало, даже дремал.

Сейчас вот он обошёл глазами многие висящие шланги и провода и хотел для себя объяснить, зачем их столько, и если есть тут охлаждение, то водяное или масляное. Но мысль его на этом не задержалась, и ничего он себе не объяснил.

Он думал, оказывается, о Вере Гангарт. Он думал, что вот такая милая женщина никогда не появится у них в Уш-Тереке. И все такие женщины обязательно замужем. Впрочем, помня этого мужа в скобках, он думал о ней вне этого мужа. Он думал, как приятно было бы поболтать с ней не мельком, а долго-долго, хоть бы вот походить по двору клиники. Иногда напугать её резкостью суждения – она забавно теряется. Милость её всякий раз светит в улыбке как солнышко, когда она только попадёт в коридоре навстречу или войдёт в палату. Она не по профессии добра, она просто добра. И – губы...

Трубка зудела с лёгким призвоном.

Он думал о Вере Гангарт, но думал и о Зое. Оказалось, что самое сильное впечатление от вчерашнего вечера, выплывшее и с утра, было от её дружно подобранных грудей, составлявших как бы полочку, почти горизонтальную. Во время вчерашней болтовни лежала на столе около них большая и довольно тяжёлая линейка для расчерчивания ведомостей – не фанерная линейка, а из струганой досочки. И весь вечер у Костоглотова был соблазн – взять эту линейку и положить на полочку её грудей – проверить: соскользнёт или не соскользнёт. Ему казалось, что – не соскользнёт.

Ещё он с благодарностью думал о том тяжёлом просвинцованном коврике, который кладут ему ниже живота. Этот коврик давил на него и радостно подтверждал: «Защищу, не бойся!»

А может быть, нет? А может, он недостаточно толст? А может, его не совсем аккуратно кладут?

Впрочем, за эти двенадцать дней Костоглотов не просто вернулся к жизни – к еде, движению и весёлому настроению. За эти двенадцать дней он вернулся и к ощущению, самому красному в жизни, но которое за последние месяцы в болях совсем потерял. И значит, свинец держал оборону!

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.me/ru/aleksandr-solzhenicyn/rakovyy-korpus-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)